В. С. ПЕЧЕРИН

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ



„ МИР "

МCМXXXII

В. С. ПЕЧЕРИН

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
С ВВЕДЕНИЕМ И ПРИМЕЧАНИЯМИ
Л. Б. КАМЕНЕВА

Подготовил М. О. ГЕРШЕНЗОН



1 9 3 2

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
« М И Р »

Обложка П. В. Попатенко.
Мособлит № 26416. Тираж 5000 экз.
Отв. ред. Л. Каменев.
Техн. ред. А. Коншин Сдано 25/X-31.
Сдано в печать 27 декабря 1931 г.

Г. Калинин. Типография им. Карла Маркса. Заказ № 6331—31.

ВВЕДЕНИЕ

Книжка эта—неожиданный и истинный подарок русской литературе. Развернув, трудно не дочитать ее до конца, а дочитав—не задуматься над теми странными „путями и перепутьями“, по которым блуждала русская общественная мысль раньше, чем выбиться на путь прямой революционной борьбы. Она написана человеком в рясе католического монаха. Но этот католический монах был раньше блестящим профессором Московского университета, серьезным ученым и незаурядным поэтом. Он был затем,—по его собственному признанию,—„республиканцем школы Ламеннэ, коммунистом, сен-симонистом“. Под влиянием революционных и социалистических идей, он в 1836 г. бежал из николаевской России за границу, чтобы присоединить свои усилия к борьбе европейских революционеров. Его предшественник по эмиграции—Н. И. Тургенев—случайно оказался за границей в момент, когда разразилось восстание декабристов, и отказался вернуться в Россию, чтобы не подвергнуться их общей судьбе. Печерин же добровольно покинул Россию ради служения революционной идее и, таким образом, явился первым русским политическим эмигрантом XIX века, сознательно и обдуманно вступившим на этот путь. В его воспоминаниях мы имеем первые следы прямых сношений русской интеллигенции с итальянскими революционерами-мадзинистами, с учениками Сен-Симона, с польскими эмигрантами... А затем этот человек, по выражению Герцена,—„упал в иезуитский монастырь“, „преступно похоронил себя в смрадной могиле“, по словам Огарева.

Вот эта странная судьба и рассказана самим Печериным в лежащей перед читателем книге. В своем рассказе автор обнаружил незаурядный художественный талант, и его „Замогильным запискам“ несомненно обеспечено место в ряду художественных произведений русской литературы. Вместе с тем, они являются и интереснейшим вкладом в историю ранних откликов революционных идей и утопического социализма на русской почве. Но этого мало. Этот монах, „проспавший“ и „проигравший“—по его собственному выражению—

двадцать лет своей жизни в католическом монастыре, никогда не был ни подлинно-верующим, ни покорным сыном своей церкви и, взявшись 60-летним стариком за перо, он, на основании своего собственного опыта, своего непосредственного знакомстова, рассказал о своих „братьях-монахах“, о своих духовных начальниках, о монастырях и о папском Риме так откровенно и остро, что книжка его легко может стать орудием хотя бы первоначального разоблачения „святых таинств“ духовенства всех религий.

Любопытна и судьба самой книжки. Автор начал ее писать в конце 60-х гг., когда ему исполнилось уже 60 лет, после того, как, окончательно разочарованный в избранном им пути, он покинул свой орден и монастырь. Свои воспоминания он писал в виде писем, частью к своему племяннику, частью—к старому университетскому товарищу. Печерин надеялся, что хотя бы часть их появится на страницах русской печати, но вскоре убедился в неосновательности этой надежды. Хотя по форме самые резкие места писем направлены против католического духовенства, но царская цензура хорошо поняла, что эти удары сатиры и иронии бьют дальше. Мало почтенный, но влиятельнейший „хозяин“ крупнейшего русского либерального журнала, „Вестника Европы“, к которому в 70-х гг. обращался Ф. В. Чижов с просьбой напечатать хотя бы отрывки воспоминаний Печерина, под всякими предлогами откладывал печатание и так и не напечатал их. Только после его смерти, в 1910 г. в его портфеле нашли один отрывок писем Печерина, пролежавший там с 1877 г. Этот отрывок в 1915 г. напечатал М. О. Гершензон в I-м томе „Русских Пропилей“, и только в 1918 г., рукопись Печерина была найдена тем же М. О. Гершензоном в Румянцевском музее в Москве, среди бумаг упомянутого выше Чижова. По этой рукописи записки Печерина и печатаются теперь впервые.

Узнав о невозможности появления в печати своих записок, Печерин писал своему другу:

„Итак, благодаря цензуре, мои записки принимают высоко эстетический характер... Никто их не прочтет, никто не похвалит и не осудит их... Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства... Через каких-нибудь 50 лет, т. е. в 1922 г. русское правительство, в припадке перемежающегося либерализма разрешит напечатать эти записки“.

Как это ни печально, приходится констатировать, что фантазии старика нехватило не только на представление об Октябрьской революции, но даже на то, чтобы предвидеть, что в 1922 г. в России не будет вообще монархии, хотя бы и либеральной.

Однако в своем предсказании о времени появления в печати своих записок Печерин ошибся только на десять лет.

„Какой-нибудь юноша двадцатого столетия—продолжал автор,—с любопытством, а может быть и с сердечным участием прочтет историю этой жизни, вечно идеальной, отрешенной от всякой земной корысти, вечно

донкихотствующей и, может быть, это чтение воспламенит в нем желание совершить какую-нибудь великодушную глупость".

„Глупость"—это сказано, конечно, иронически: автор надеялся на то, что его рассказ о своей судьбе вызовет в читателе 1922 г. благородное побуждение к участию в общественной борьбе за великое дело. И в этом автор не ошибся. Читатель 1932 г. с интересом прочтет эту повесть о человеке, заблудившемся в своих поисках путей борьбы с ложью капиталистической цивилизации, но бодро рассказавшего на старости лет о своих исканиях и разочарованиях.

Владимир Сергеевич Печерин родился в 1807 г., в семье офицера-крепостника, кочевавшего со своим полком по юго-западной России. В юношестве он испытал, хотя и в смутной форме, влияние тех идей, которыми вдохновлялись декабристы. В 1831 г. он блестяще кончил петербургский университет, а в 1833 г. был отправлен, вместе с рядом других молодых ученых, за границу для подготовки к профессорской деятельности. Проникнутый идеями шиллеровой поэзии и французской революции 1830 г., Печерин попал в Берлин Гегеля, в университетские аудитории, в которых формировалась революционная мысль германской интеллигенции: вскоре после того, как их покинул Печерин, в них вступил К. Маркс. О том, какие идейные веяния всего сильней сказались в эту эпоху на Печерине, ясно показывает одно из его писем 1834 года. Он описывает в нем заключительную лекцию берлинского профессора гегельянца Ганса.

„Красноречивый профессор, доведши историю до последней минуты настоящего времени—писал Печерин—в заключение приподнял перед своими слушателями завесу будущего и в учении сен-симонистов и возмущениях работников (coalitions des ouvriers) показал зародыш предстоящего преобразования общества. „Понятие чернь исчезнет. Низшие классы общества сравняются с высшими, так же, как сравнялось с сими последними среднее сословие. История перестанет быть для низшего класса каким-то недоступным, ложным призраком—нет! история обымет равно все классы; все классы сделаются действующими лицами истории, и тогда история сольется в одну светлую точку, из которой начнется новое, совершеннейшее развитие"... У меня невольно выступили слезы на глазах; все огромное собрание сидело в торжественном молчании, как бы прощаясь с прошедшим и с трепетом слыша гигантские шаги близкого будущего, которое как-будто стучалось в двери этого огромного и древнего зала".

Современный читатель отметит в этой страстной тираде не только отголосок общих смутно-социалистических идей, но и указание на „возмущение работников", как на „зародыш предстоящего преобразования общества". С большей силой и подъемом выразил Печерин революционное отрицание старого мира и в написанной в то же время стихотворной поэме „Торжество смерти". Лишенная какой-либо определенной историко-философской основы, поэма представляет собой красноречивый гимн в честь насильственного и беспощадного разрушения мира рабства и лжи. Аллегорическая поэма кон-

чается апофеозом смерти, —„богу свободы, богу движения, вечного преображения“ —

Ветхое, ничтожное,
Слабое и ложное
Пред тобой падет!
Вольное, младое,
Творчески-живое
Смертью расцветет!

—и восклицанием:

„Vive la mort! vive la mort! vive la mort!“

(„Да здравствует смерть!“).

Поэма Печерина, пересланная им в Россию, пользовалась в свое время широким распространением (разумеется, в качестве литературы подпольной) и производила большое впечатление. Когда уже в 1870 г. Достоевскому, в его направленном против революционеров романе „Бесы“, понадобился образчик „бессмысленных мечтаний“ революционной интеллигенции, он вспомнил именно о поэме Печерина и пародировал ее в целях осмеяния социальных и богоборческих тенденций революционеров 40-х годов.

Естественно, что при этих настроениях у Печерина должен был возникнуть вопрос о возвращении в Россию. В цитированном выше письме он писал:

„Вопрос один: быть или не быть? Как! жить в такой стране, где все твои силы душевные будут навеки скованы—что я говорю, скованы!—нет: безжалостно задушены—жить в такой земле не есть ли самоубийство? Мое отечество там, где живет моя вера!“.

Насколько мне известно, мысль о добровольной эмиграции из царской России была выражена в этих словах 1834 г. впервые так ясно и определенно. Через несколько месяцев Печерин писал своим друзьям в Россию:

„Я надеюсь, что бог, в бесконечном милосердии своем, не даст мне скоро увидеть бесплодных полей моей безнадежной родины“.

Тогда же из-под пера Печерина вышли такие строки:

Как сладостно—отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья!
(Я этим набожных господ обидеть
Не думал: всяк свое имеет мненье.
Любить?—любить умеет всякий нищий,
А ненависть—сердец могучих пища!)

В середине 1835 г. Печерин вернулся в Россию с определенной мыслью—бежать из нее при первой возможности. Встретившийся с ним в Петербурге, его старый университетский товарищ записал тогда в своем дневнике о группе возвратившихся молодых профессоров:

„Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве крепостного рабства. Особенно мрачен Печерин“.

В июне 1836 г. Печерин бежал из России—с тем, чтобы больше в нее уже не возвращаться. Это был год появления „Ревизора“ и „Философического письма“ Чаадаева. Герцен и Огарев были уже в ссылке.

Причин своего бегства Печерин неоднократно касается в печатаемых записках. В концентрированном виде он изложил их в письме к другу, которое необходимо прочесть раньше, чем приступить к последним. Вот оно:

„Ты хорошо понимаешь, что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано. Какая же цель? Для этого надобно возвратиться назад, к концу 1833 года.

До тех пор у меня не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России.—далее мысли мои не шли. В конце 1833 года вышла в свет брошюрка Ламеннэ „Paroles d'un croyant“, наделавшая тогда много шуму. Это было просто произведение сумасшедшего, но для меня она была откровением нового евангелия. „Вот“, думал я, „вот она, та новая вера, которой суждено обновить дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища новых Иродов и Пилатов, это те же святые мученики и апостолы первобытной церкви. Присоединиться к их доблестному сонму, разделять их труды и опасности и пожертвовать жизнию святому делу,—вот благородная, возвышенная цель“. Политика стала для меня религиею и вот ее формула: „Аллах у Аллах! у Махомед росул Аллах!“ Понимаешь? Это значит: Республика есть республика и Маццини ее пророк!

Первое мое путешествие в Швейцарию и Италию (1833) было чисто русское, то-есть без всякой разумной цели, так просто посмотреть да погулять... На следующий год я путешествовал один и уже с определенной целью сблизиться с республиканцами. Из этого тогда ничего не вышло, но намерение все же таки было. Я возвращался в Россию (1835), как агнец, влекомый на заклание, с ужасною тоскою, с глубоким отчаянием, но вместе с тем с искреннею решимостью убежать при первом благоприятном случае. Я жил в Москве ужасным скрягою, часто отказывал себе в обеде и питался черным хлебом и оливами, для того чтоб накопить несколько денег.

Ты думаешь, что я оставил Россию так просто, очертя голову, без всякого плана? Ты ошибаешься. Все было обдумано, взвешено и расчитано до последней копейки...

По трем причинам мне невозможно было оставаться в России:

1-ая. Религия. Идти говеть по указу и причащаться св. таин без веры и с кощунством? До этого я не мог унизиться: мне это казалось первою подлостью и началом всех прочих подлостей. На первый год оно сошло бы с рук; но впоследствии мое отсутствие было бы замечено, и я был бы принужден подчиниться этому обряду.

2-ая. Профессорство. Профессорство в России невозможно, и я, правду сказать, никакого к нему призвания не имел. Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь; но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею, вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвращался из-за границы. Одна московская дама, с обыкновенною женскою проницательностью, заметила обо мне: Il a le mal du pays, что тогда значило: „у него тоска по загранице“.

3-я. Литература. В письме из России, один весьма почтенный господин писал ко мне: „Je ferai tout ce qui dépandra de moi pour vous rendre á la carriére des belles lettres, á la quelle vous pouvez être utile“. [1]

---

[1] „Я сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить вам карьеру литератора, в которой Вы можете быть полезны“.

В этом то я и сомневался. Я беспристрастно аршином измерял свой талант до последнего вершка. Я очень хорошо понимал, что в тогдашней России, где невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить, где даже высшего разряда умы чахли и неминуемо гибли под нестерпимым гнетом,— в тогдашней России, с моей долею способностей, я далеко бы не ушел. Я скоро бы исписался и сделался бы мелким пошленьким писателем со всеми его низкими слабостями,—а на это я никак согласиться не мог. По мне: aut Caesar, aut nihil, или пан, или пропал.

Но если пойти глубже, то может быть найдется другая основная причина, то-есть неодолимая страсть к кочевой бродяжнической жизни.

Как сын пустыни, я терпеть не мог оседлости. Усесться на профессорской кафедре, завестись хозяйством, жениться, быть Коллежским Советником и носить Анну на шее,—все это казалось мне в высшей степени комическим. Как Ленский в Онегине, я тоже

Носил бы стеганый халат,
и пр. и пр. и пр.

Но от этого именно позора я бежал за тридевять земель, в тридесятое царство. Да и как еще бежал! Словно погоня была за мною; некогда было духу перевести. Я в первый раз свободно вздохнул, когда дилижанс высадил меня на площадь в Базеле 23 июня 1836 г.".

Попечитель Московского университета, разыгрывавший из себя покровителя молодых талантливых профессоров, граф С. Г. Строганов, пытался убедить Печерина вернуться в Россию и выслал ему деньги на обратный путь. (Об этих деньгах в своих записках и упоминает Печерин). Печерин отвечал ему:

„Вы призвали меня в Москву... Когда я увидел эту грубоживотную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без бога, живущия лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные... когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю мою жизнь; я говорил себе: кто знает? Быть может, время, привычка приведут тебя к тому же результату, ты будешь вынужден спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякою мерзостью! Тогда моим серцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска... Я замкнулся в одиночестве моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь же суровую, как я сам.—Этой подругою была н е н а в и с т ь! Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему меня окружавшему!..".

Печерин бежал из России с определенной целью примкнуть к европейскому революционному движению. В Лугано— первой цели Печерина за границей,—влекло его то, что это был центр итальянских эмигрантов—мадзинистов. В Брюссель—ибо там жил глава демократической польской эмиграции, Иоахим Лелевель. Он внимательно изучает Сен-Симона и относится, как к святыне, к книге, сыгравшей крупнейшую роль в развитии революционного и рабочего движения 30-х и начала 40-х гг.—к „Заговору равных" Филиппа Буонаротти, товарища Бабефа. Он переводит знаменитую книгу Штрауса „Жизнь Иисуса" и увлекается социалистическими романами Жорж Санд.

„Я пришел в Льеж—пишет Печерин—с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабефа, религию

Сен-Симона, систему Фурье". В Швейцарии, вместе с итальянскими и польскими эмигрантами, он обдумывает план издания газеты и—по примеру всех утопистов того времени—мечтает об образовании коммунистической общины в Америке.

К сожалению, и эта часть записок Печерина написана в общем, усвоенном им для своих записок ироническом тоне. Надо принять также во внимание, что эта часть записок писалась еще тогда, когда автор надеялся на появление их в русской печати, в связи с чем он, повидимому, сознательно сжимал свой рассказ о сношениях с европейскими революционерами и особенно нажимал на их теневые стороны. Но и этот скупой на детали, сатирически-стилизованный и односторонний рассказ очень любопытен картинками из жизни международной революционной среды середины 30-х гг. Печерин был первым русским, попавшим в эту среду, и на русском языке, кроме его рассказа, нет других следов этой среды и этой эпохи.

Жил он в Швейцарии, в Париже, в Бельгии, добывал средства к существованию случайными грошевыми уроками и сильно бедствовал. Его русские друзья, следившие за его судьбой, писали впоследствии, что Печерин, оказавшись заграницей, „увлекся крайними теориями европейских революционеров". Но на этом пути Печерин не нашел разрешения мучивших его вопросов. Социальная фантастика привела его в тупик. Он был не единственным из социальных утопистов и революционеров 30-х гг., которые, не найдя подлинного революционного пути, запутавшись в социальных противоречиях своей эпохи, пришли к разочарованию в возможности немедленной реальной борьбы за социалистическое преобразование мира и с отчаяния бросились в религию, в частности, в католицизм. Это был путь многих бывших рационалистов, сен-симонистов, польских эмигрантов. В середине 1840 г. перешел в католичество и ушел в монастырь и Печерин.

„Бедность, безучастие, одиночество сломили его"—писал по поводу этого неожиданного перехода Герцен. Сам Печерин посвятил выяснению причин этого перехода значительную часть своих записок. И хотя он в них пытается оспорить диагноз Герцена, но, в общем, Герцен прав.

Описывая свое состояние в этот момент, Печерин в своих записках вспоминает:

„Я был в том состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя... пожертвовать разумом и волей"...

Только много лет спустя Печерин оценил эту свою „жертву", как низведение себя до уровня „хорошо дрессированной скотины, выкидывающей разные штуки по мановению хозяина". В другом месте, в письме, опубликованном им в 1863 г. в эмигрантской прессе, Печерин сам дал гораздо более определенную и содержательную форму своего обра-

щения: „Католическая церковь... была для меня последним убежищем после всеобщего крушения европейских надежд в 1848 г.“. Тут есть некоторое хронологическое несоответствие, но характерно, что сам Печерин сознательно связывал свое „падение в иезуитский монастырь“ с крушением революционных надежд.

Впрочем, в 1840 г. он мечтал еще о другом, не об „убежище“, а о временной пристани, где можно было бы подготовиться к грядущей буре, чтобы выйти ей навстречу в полном вооружении. Так, по крайней мере, пытается объяснить свое „падение“ Печерин в записках, ссылаясь на то, что его уход в монастырь был подготовлен религиозными элементами в учениях утопического социализма 40-х гг. Печерин указывает при этом на Жорж Санд, Пьера Леру, Мишлэ. И он прав—мистический элемент был очень силен в проповеди тогдашних социальных реформаторов. Человек того же поколения, что и Печерин, прошедший через те же идейные влияния, Герцен еще в 1848 г. писал:

„Французы нисколько не освободились от религии: читайте Ж. Санд и Пьера Леру, Луи Блана и Мишлэ, вы всюду встретите христианство и романтизм, переложенный на наши нравы; везде дуализм, абстракция, отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная, риторическая нравственность без соотношения к практической жизни“.

Вот эти элементы тогдашней социалистической проповеди—отражение практического бессилия мелкой буржуазии при столкновении двух основных классов современного общества—и оказались больше всего родственными Печерину, выходцу из крепостнической России, слишком раннему предвестнику слишком медленной весны, которому еще трудней было найти реальную опору своих реформаторских мечтаний, чем мечтательно-сентиментальному социализму Ж. Санд и Пьера Леру.

Жизнь Печерина была раз и навсегда сломана этим фальшивым шагом. Наступившее впоследствии разочарование его в избранном им пути было глубоко, о папстве и монахах он не писал впоследствии иначе, как с ненавистью, но еще раз переломить свою судьбу у него не хватило сил. Он отомстил себе и соблазнившему его фетишу иначе: в своих записках и письмах он дал такую уничтожающую характеристику и самого своего шага и той „смрадной могилы“, в которую он попал, что она не утеряла своей остроты и до сих пор.

Под влиянием общего оживления общественной жизни в России, а также своего свидания с Герценом и публицистической деятельности последнего за границей, Печерин в 1860 г. вновь взбунтовался и бросил свой монастырь.

„Я проспал 20 лучших лет моей жизни (1840—1860),— писал Печерин через несколько лет.—Да что же тут удивительного! Ведь

это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты. Я и то и другое сделал: и проспал, и проигрался в пух".

Трудно было резче осудить самого себя. В другом письме той же эпохи он писал:

„Грустно думать, что двадцать лучших лет моей жизни совершенно погибли для умственного развития. Это было своего рода самоубийство".

Он догадался наконец, что „из шпионствующей России попасть в римский монастырь, это просто—из огня да в полымя". О христианстве он пишет теперь так:

„Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах,—и теперь издыхает от старческого изнеможения".

„В монахе—продолжает он—человек падает ниже скота".

Он свидетельствует о сексуальных элементах в культе Иисуса, о том, как его собственная религия стала орудием оскотинения человека, угнетения масс, обогащения „князей церкви".

„Я вовсе не годился быть священником, а всего менее монахом, потому что у меня не было дара просить денег".

—пишет и подчеркивает он. И, как бы для иллюстрации этих вынесенных из двадцатилетнего опыта положений, Печерин, бросивший монастырь, но не скинувший рясы католического священника, наполняет свои записки такой издевкой над „служителями церкви", такими сценками из их жизни, дает в них такую выпуклую галлерею монахов, священников и кардиналов, что они просятся в антирелигиозные хрестоматии. Не надо при этом забывать, что все это писалось шестидесятилетним стариком, двадцать лет прожившим в монастыре и в свое время славившимся красноречием своих проповедей и строгим выполнением монастырских уставов. Вот почему следует сказать, что обстоятельная монография, посвященная Печерину М. О. Гершензоном („Жизнь Печерина". М. Гершензон. М. 1910), далеко не вполне отражает подлинный образ автора „Замогильных записок". Тонкий и изящный психолог-исследователь, но сам мистик и индивидуалист, М. О. Гершензон „подсластил" Печерина, придал ему слишком „благолепный" лик. Правда, когда Гершензон писал свою книгу, он не знал еще „Записок" и, повидимому, не предполагал в их авторе того запаса ненависти к монастырю и церкви, которые накопил последний в результате своего опыта. Под рясой монаха Гершензон не заметил старого вольтерьянца с его подлинной ненавистью к папскому Риму, с готовым запасом скабрезных анекдотов о монахах и монастырской жизни, но, конечно, и с присущей подлинному вольтерьянцу ограниченностью понимания смысла и происхождения религиозных явлений.

Как сказано уже, в 1861 г. Печерин бросает свой монашеский орден, возобновляет переписку с Герценом и Огаревым, вновь начинает заниматься поэзией, регулярно посылает пожертвования в „Колокол“, изучает естественные науки, внимательно читает Фейербаха и Бюхнера, следит за эмигрантской журналистикой. В 1863 г. в эмигрантской прессе он публикует письмо, в котором пишет:

„Я никогда не был и не буду верноподданным. Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше (письмо написано в разгар польского восстания. Л. К.): если бы я был на их месте, я бы действовал, как они действуют. Те, которые знали меня в Берлине, увидят теперь, что я не изменил первым убеждениям моей юности... Г. Погодин очень наивно запрещает мне въезд в Россию. Он совершенно прав: с его точки зрения, от меня ничего путного ожидать нельзя! Если, вследствие какого-нибудь великого переворота, врата отечества отверзнутся передо мною—я заблаговременно объявляю, что присоединяюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя будущего“.

Так один из первых русских эмигрантов, ученик социалистов-утопистов, загнанный судьбой на двадцать лет в католический монастырь, пытался шестидесятилетним стариком протянуть руку молодому поколению революционеров. Это ему не удалось и удаться не могло. Двадцатилетнее послушничество в католическом монастыре не могло пройти даром: оно сказалось рядом реакционных черт и наслоений и в психологии, и в идеологии автора „Замогильных записок“. Но эти черты в последних ни для кого уже сейчас не опасны и никого не способны задеть. Сама же книга останется живым художественным памятником давно ушедшей в прошлое, но интересной эпохи, талантливым свидетельством о ней человека оригинальной судьбы и неизменной бодрости духа.

Невольное изумление вызывает в устах этого представителя давно отжившего поколения его оценка Парижской Коммуны 1871 г. Печерину было в этот момент 65 лет. Он жил в глубоком одиночестве при одной из больниц в Ирландии, в стороне от больших исторических дорог, в стороне от всякой политической деятельности.

Но вот что написал он о парижских коммунарах в момент, когда весь буржуазный мир извивался в судорогах бешеной к ним ненависти, обливал их ядовитой слюной злобной клеветы.

„Парижские коммунисты, сожегшие Тюльри и Отель де Виль, может быть, со временем попадут в великие благодетели человечества. Ведь первые христиане также сожигали великолепные языческие храмы, разбивали в куски изящные статуи, образцовые произведения искусства. Образованный древний мир содрогался от ужаса и негодования при виде этих неистовств и прозвал христиан безбожниками, а ф е я м и; но все ж таки в конце концов христиане одолели. Вот так будет и с коммунистами. Они тоже могучие

дровосеки: они прямо идут к цели. Надо же как-нибудь расчистить наш старый лес, наполненный всякою дрянью. Что сделали с Тюльри, могут сделать и с Ватиканом, и тогда уже мы навсегда отделаемся от этой старой рухляди; поляна будет окончательно расчищена. Никто теперь не упрекает Новгородцев за то, что они скатили в Волхов святой истукан Перуна: зачем же бранить коммунистов за то, что они низвергнули Вандомскую колонну?"

Эта хвала сказана не нашими словами,—но они вскрывают поразительную бодрость духа в этой „жертве русской истории", этом старике, прошедшем сквозь „смрадную могилу" католического монастыря и священства.

В. С. Печерин умер в 1885 г., в той же ирландской больнице, где он написал сейчас цитированные строки о коммунистах. Воспоминания его не закончены. Они обрываются на 1848 г.

Из рукописных залежей Румянцевского музея письма Печерина были извлечены М. О. Гершензоном, который сделал и первые шаги для подготовки их к печати. Он написал несколько страниц предисловия, в которых характеризовал их следующими словами: „Автобиография не представляет собой сплошного повествования; это ряд эпизодов, часто не связанных между собой хронологически и от того может быть выигрывающих в художественной законченности. Сообщая эти эпизоды в письмах (своему племяннику С. Ф. Печерину и Ф. Б. Чижову), Печерин часто предварял или сопровождал свой рассказ рассуждениями и сообщениями злободневного свойства. Эти эпистолярные привески мы, по возможности, устранили из автобиографии".

Мы последовали этому плану публикации. В рукопись Печерина мы вставили два отрывка, предварительно напечатанные в русских изданиях. Название—„Замогильные записки"—заимствовано из текста самого Печерина. Примечания принадлежат редакции настоящего издания.

Л. Каменев.

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

Дублин 13-го октября 1865 г.

Любезнейший племянник!

Знаете ли, чего вы от меня требуете? Ни больше ни меньше как прислать вам несколько томов моей биографии. Оно бы кажется не трудно бегло рассказать главные факты моей жизни; но как же описать постепенное, медленное, многосложное развитие духа? Как размотать эти тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неумолимою логикою жизни?—Ведь это почти то же, что написать целую историю философии. Для этого надобно время и терпение. В прошлом году я начал было писать свои записки; но после бросил. Может быть, снова за них примусь. Теперь же, чтобы удовлетворить вашему и ваших друзей желанию, я посылаю вам два из них отрывка — как задаток. Для остального надо время и терпение.

1812 год. Первые воспоминания.

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок. Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там бывало с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты. Это был размен пленников. У нас была одна большая комната с огромными шкапами во всю длину стены: в одном из этих шкапов меня клали спать.

Тут на турецком диване я сидел с указкою в руках: сам отец учил меня грамоте. Первую книгу мне дали в руки—

„Сто четыре священные истории“ Гибнера[1]. История смерти спасителя сделала на меня чрезвычайное впечатление. Солнце померкло—земля потряслась—мертвые встали из гроба — завеса храма раздралась на двое: — это зрелище потрясло всю душу — какой-то священный трепет пробежал по всему телу, волосы стали дыбом. Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности я не испытывал подобного ощущения.

Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста — было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на остальную жизнь. Впрочем, кроме „священной истории“ я читал все, что мне попадалось в руки. У отца моего была маленькая библиотека, состоявшая из драм Коцебу и романов г-жи Жанлис . Здесь же, в крепости Килии я в первый раз выступил на сцену. У нас зимовала небольшая Дунайская флотилия. Флотские офицеры зимою завели редут и театр. В одной пьесе Коцебу требовалась роль ребенка около моих лет. Мне предоставили эту роль. Я вышел на сцену, сказал выученные мною слова, получил два калача в руки и удалился за кулисы.

Кроме отца, у меня был еще другой учитель—флотский офицер с деревянною ногою — достопочтенный и незабвенный Залеский: он учил меня писать и рисовать носы и глаза. — В одно прекрасное утро раздался гром пушек со всех укреплений, так что у нас все стекла треснули. Это было известие об изгнании французов из России.

1815. Одесса в казармах.

Полковой доктор Зоммер (разумеется, немец), заведывавший здоровьем моей матери, сказал ей однажды: „этот ребенок будет или поэтом, или актером“. Хорош пророк! — Впрочем, он, может быть, и не совсем ошибся. Я, действительно, был поэтом, — не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения, я задумал и развил длинную поэму жизни и, по всем правилам искусства, сохранил в ней совершенное единство. Несмотря на разнообразные события,

---

[1] Hübner—немецкий педагог и писатель (1668--1731); в 1714 г. он выпустил под указанным в тексте заглавием приспособленное к потребностям школы изложение отдельных библейских и евангельских рассказов, ставшее затем распространеннейшим учебником т. наз. „закона божия“.

[2] Коцебу Август (1761 — 1819)—немецкий драматург, создатель немецкой мещанской драмы, автор 300 комедий и драм, имевших долгий и прочный успех на европейских сценах, — в то же время реакционер - шпион русского правительства в Германии; убит студентом-революционером Карлом Занд.—Жанлис, графиня (1746 – 1830)—популярная в начале XIX века французская писательница, автор многочисленных романов, проникнутых слащаво-мещанской моралью.

одна идея господствует над всем — это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызвала меня на Запад и теперь ведет путем незримым к какой-то высокой цели, где все разрешится, все уяснится и все увенчается. — Я был также и актером. Я разыгрывал всевозможные роли. Я был подканцеляристом Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста и был посажен под арест за нерадение к службе — кутил с гвардейскими подпрапорщиками,—потом вдруг перебрался на 5 этаж в Гороховой улице и жил там бедным студентом, пустынником, — был членом Профессорского Института и почти профессором Московского Университета, — бродил безприютным нищим по Франции,—продавал ваксу на улицах Люттиха (Liège) в Бельгии,—был секретарем у английского капитана и за это получал пять франков в неделю,—наконец, я был республиканцем школы Ламеннэ, коммунистом, сенсимонистом, миссионером-проповедником, теперь, вероятно, я вступил в последнюю ролю: она лучшая из всех и близшая к идеалу: я разделяю труды сестер милосердия и вместе с ними служу страждущему человечеству в больнице. Но что же было поводом доктору Зоммеру произнести такое обо мне пророчество?

В Одессе меня повезли в театр. Там играли „Эдип в Афинах“ Озерова[1]. Теперь еще помню начало:

„Постой, дочь нежная преступного отца!
Опора слабая несчастного слепца!
Печаль и бедствия всех сил меня лишили“

Надобно заметить, что мне ничто даром не проходило. Какая-нибудь книженка—стихи, два-три подслушанные мною слова делали на меня живейшее впечатление и определяли иногда целые периоды моей жизни. Возвратившись домой, я набросил на плечи шаль моей матери и начал расхаживать по комнате, как греческий царь. Высокие идеи театрального правосудия шевелились в голове моей. Мне хотелось быть правосудным царем—оправдать невинных, разбить оковы узников. У нас была какая-то большая белая книга: я начал в ней писать свои мысли и иллюстрировать их. Я нарисовал царя в венце и багрянице, сидящего на престоле: перед ним приводят пленников: он их прощает и велит снять с них оковы. С тех пор я каждый день представлял или греческих царей, или чувствительную драму Кора и Алонзо. Мне было 8 лет. С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становился посредником между тиранами и их жертвами...

[1] В. А. Озеров (1769—1816) — русский драматург до пушкинской эпохи, автор сентиментальных трагедий („Эдип в Афинах“, „Фингал“ и др.) пользовавшихся в свое время большим успехом на сцене.

Тут же в Одессе умер наш полковой командир Андрей Карлович Мольтрах — горький пьяница. Какой-то полковой поэт написал ему следующую эпитафию:

„Стой, прохожий! Стой!“
Вижу у тебя штоф непустой:
Сжалься и мне немного отлей!
Здесь лежит пьяный Андрей!

Было какое-то торжество в одесском соборе. Все офицеры в большом параде. Был тут и герцог Ришелье [1]. Отец меня подвел к нему, и Дюк (так его звали в Одессе) погладил меня по головке: вот я и получил благословение французского легитимиста!

Пробуждение.

Что я слышу?—голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.
Прояснися, прояснися,
Ранний сумрак вешних дней!
Сквозь туманы улыбнися,
Солнце юности моей:
После долгих треволнений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной.
Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман.
Смело я поднял ветрило
И пустился в океан.
Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.
Запад, запад величавый!
Запад золотом горит:
Там венки виются славы!
Доблесть, правда там блестит.
Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбины
В лоне битвы роковой!
В броне веры, воин смелый,
Адамантовым щитом
Отобьешь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом!
Вот блестит хоругвь свободы!
И цари бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.

---

[1] Французский политический деятель, роялист, эмигрировавший во время Великой Революции и назначенный в 1803 г. генерал-губернатором Одессы и Новороссийского края.

Разорвался плен суровый.
Кончилась навек война.
Узами любви христовой
Сочетались племена!
Гряньте звонкими струнами:
Где ты, гордый фараон?
Моря Чермного волнами
Конь и всадник поглощен:
Ныне правда водворится
В нашей Скинии святой.
Вечным браком соединится
Небо с юною землей.
Духов тьмы исчезнет сила.
И взойдет на небеса
Трисиянное светило—
Доблесть, истина, краса.

Август
1864

В этих стихах целая программа. Все мечты и планы, с которыми я оставлял Россию.

С Монте-Пинчио [1].

Там, над куполом святым,
Звездочка любви всходила
И на свой любезный Рим
Взором матери светила.
Но подчас она бледнела
И, как факел меж гробов,
Тусклым пламенем горела
Над могилами сынов.
И сокрылося, как сон,
Рима дивное виденье,
И ты снова погружен
В жизни мутное волненье.
И к Неаполя брегам
Ты летишь с печальной думой:
Там, гуляя по гробам,
Прояснишь ли взор угрюмый?
Нет! напрасно ты бежал
От души глухого стона
Под навес швейцарских скал
И под купол Пантеона.
Все прекрасное пройдет.
Ветерок струит ветрило
И к Германии унылой
Быстрый челн тебя несет.

Это было напечатано, кажется, в 35 или 36 году в „Московском Наблюдателе“ в статье: „Отрывки из путешествия доктора Фуссгэнгера“ [2].

---

[1] Один из холмов, на которых расположен Рим; с него открывается вид на заречную часть города с собором св. Петра.

[2] „Доктор Фуссгэнгер“ (пешеход)—литературный псевдоним В. С. Печерина). Под приведенным в тексте заглавием Печерин напечатал в декабрьской книжке „Московского Наблюдателя“ за 1835 г. воспоминания о своем путешествии по Швейцарии в 1833 г.

Желание лучшего мира.

(Из Шиллера) [1].

Ах! из сей долины тесной,
Хладною покрытой мглой,
Где найду исход чудесный?
Сладкий где найду покой?
Вижу: холмы отдаленны
Зеленью цветут младой...
Дайте крылья! к вожделенной
Полечу стране родной!
Вижу, там златые рдеют
Меж густых ветвей плоды;
Зимни бури там не веют,
И не вянут век цветы.
Слышу звуки райской лиры,
Чистых пение духов,
И разносят вкруг зефиры
Благовония цветов.
Вот челнок колышут волны...
Но гребца не вижу в нем!..
Прочь боязнь! Надежды полный,
В путь лети! Уж ветерком
Парусы надулись белы...
Веруй и отважен будь!
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь.

Мой Роман.

Г. Липовец, Киевской губернии 1821 год.

Ihr näht euch wieder
Schwankende Gestalten.
Гете [2].

Принесли посылку с почты. — Откуда это? — из Житомира, от книгопродавца Глюксберга. Да что же это такое? — Это должно быть учебные книги для сына командира 2-го батальона 35-го Егерского полка майора Печерина. Дайте ж развернем, посмотрим, какие это учебные книги. — Вот они: 1. Discours sur l'histoire universelle p. Bossuet. 2. Lettres à Emilie sur la Mythologie par Demontiers. 3. La Henriade de Voltaire. 4. Emile de J. J. Rousseau. [3]

---

[1] Этот перевод шиллеровского „Желания“ был напечатан Печериным еще в 1831 г. в „Сыне отечества“.

[2] „Вы возвращаетесь снова, призрачные образы“. Гете—„Фауст“.

[3] 1) „Речи о всемирной истории“ Боссюэта, 2) „Письма Эмилю о мифологии“ Демантье, 3) „Генриада“ Вольтера, 4) „Эмиль“ Ж.-Ж. Руссо. Вольтер (1694 — 1778) — французский философ, публицист, драматург и новеллист; крупнейший и влиятельнейший в XVIII веке пропагандист критического отношения к религиозным и политическим традициям средневековья. Яркая, беспощадная, остроумная литературная деятельность Вольтера, соответствовавшая процессу буржуазного перерождения общества XVIII века, доставила ему всесветную известность. Поднимавшаяся к власти буржуазия и обуржуазившиеся элементы дворянства были, в десятилетия,

Вот и все. Впрочем, Эмиль был не для меня, а для моего учителя, как руководство. Да! Судьба и мой учитель решили, что мне непременно надобно быть воспитанным по Эмилю. И чему тут дивиться? Учителю моему было около 24 лет от роду. Он был молодой человек очень приятной наружности с маленькими усиками и империялкою. Происхождением он был немец из Гессен-Касселя, он отлично говорил по-французски. Его звали Вильгельм Кессман. О религии его нечего и говорить. А в политическом отношении он был пламенным бонапартистом и вместе с тем отчаянным революционером. За каких-нибудь 50 руб. в месяц достать учителя и гувернера, все что угодно — отлично говорящего по-французски и по-немецки, с отличными манерами — ведь это для небогатого русского дворянина просто была находка! Я страстно полюбил моего учителя. Это была моя первая любовь. Он также привязался ко мне пламенною дружбою. Он действительно любил меня. Бог знает, что он думал обо мне, чего от меня ожидал и какие планы строил для меня в будущем. Вот один образчик: вот что он однажды писал ко мне: „Учитесь, развивайтесь, — поезжайте в университет. — Кто знает, что вам суждено в будущем? Может быть, какая-нибудь благодарная нация выберет вас своим первым Консулом, а я, осчастливленный этим событием, радостно окончу дни свои подле вас". Каково? — Вот и Дон-Кихот с его островом! И вот в каких идеях воспитывался сын бедного русского майора! — Впрочем, тут, может быть, была задняя мысль революции, как увидим после... Однако ж позвольте — не лучше ли было бы, например, вместо какого-нибудь немца, француза, отдать мальчика на воспитание какому-нибудь доброму священнику? — В этом позволено сомневаться. — Ведь я всего попробовал—даже православного воспитания. Вот, например, в 19-м году в Дорогобуже, Смоленской губернии, мы стояли на квартире в доме протопопа благочинного. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал меня ему в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, — разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто, как разгуляется, так хоть святых вон неси, так и пойдет в потасовку с своим сыном, парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя. Но и тут, как и везде, женщина

предшествовавшие Великой Французской Революции, почти сплошь вольтерьянцами, а в отсталых странах, как Россия, вольтерьянство было распространено среди образованного дворянства еще в начале XIX века. Руссо (1712—1778)—французский философ, социолог и романист, крупнейший в литературе предшественник Великой Французской Революции; более последовательный, чем Вольтер, и более плебейски настроенный, Руссо был в эпоху революции величайшим идейным авторитетом среди мелко-буржуазных революционеров.

является добрым ангелом или благодетельной феею. Милая дочь протопопа, девушка лет 25-ти, очень меня полюбила и кормила меня вяземскими пряниками в великий пост. А пряников-то была бездна! Вся кладовая была переполнена сверху до-низу, все полки были уставлены ими, словно какое-нибудь книгохранилище. А откуда же взялись эти пряники? А вот видите — накануне великого поста прихожане приходили на поклон к протопопу. Каждый бил челом святому отцу и подносил ему пряник, и вот эти пряники-то мы с Наташею и кушали.

А вот и другой образчик духовного воспитания. Где-то в Белоруссии на страстной неделе мы с маменькой пошли на исповедь к сельскому священнику. Он был какой-то ухарской молодец. Выслушав мою исповедь, он дал мне следующее поучение: „Будьте добрым мальчиком, ведите себя хорошо, и бог вас наградит и, когда вы подрастете, он дарует вам прекрасную жену!!" — Ей богу, это слово в слово так! Вот и духовное поощрение 10-тилетнему мальчику! Вот и надежда лучших благ! А о нашем полковом священнике, так нечего и говорить. Он был разбитной малый, совершенно в уровень с своим военным положением. Как загнет бывало двусмысленную шутку, так что твой уланский вахмистр! Извините эти педагогические отступления — это просто так, для сравнения двух систем.

Учитель преподавал мне французский и немецкий языки, а остальные сведения я сам почерпал из разных источников: читал Conversations Lexicon, немецкую Библию, Siècle de Louis XIV de Voltaire, Pucelle d'Orléan, Astronomie de Mauportuis и романы Августа Лафонтена[1]. Ах! какую глубокую истину сказал Пушкин: „мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь"!

У Кессмана[2] была оригинальная метода. Он заставил меня писать на немецком языке дневник, т. е. записывать маленькие события дня и мои собственные о них мысли, а потом он это поправлял. Для развития мысли и слога, — мне кажется, это отличная метода — без сомнения, несравненно лучше так называемых тем или школьных задач, где, например, вам скажут: напишите-ка описание бури, или похвалу

---

[1] Лафонтен Август (1758—1831) – плодовитый немецкий романист, фальшиво-чувствительные романы которого были очень распространены в России в 20—30-х гг.

[2] Пересылая следующий отрывок своих воспоминаний, автор снабдил его следующим обращением к своему племяннику: „С этими листками я вручаю вам заветные вопоминания и драгоценнейшее достояние души моей. Мало я забочусь о том, будут ли они когда-либо напечатаны; но счастливым себя почту, если они сохранятся, как родное воспоминание, в вашем семействе. Есть некоторые вещи, о которых покамест я никак не могу говорить, — хотя, может быть, в них то и заключается главная тайна моей жизни; но вы узнаете их современем, если бог продлит мне жизнь".

скромности, или расскажите сражение между Горациями и Куриациями (как мне задано было на французском экзамене в университете). К чему это ведет? Просто к фразам и амплификации, этой чуме истинного красноречия. Человек должен с младенчества учиться говорить правду, т. е. выражать свои собственные мысли и чувствования и говорить только о тех предметах, которые ему совершенно известны, а не красть чужие слова или просто быть попугаем. Но отложим в сторону педагогию и поговорим о более серьезных предметах, paulo maiora canamus! [1]

Кессман жил на квартире у липовецкого городничего отставного поручика Сверчевского. [2] Они были задушевные друзья и оба были глубоко замешаны в революционных проделках. В то время все подготовлялось к взрыву. Стихии были в брожении. Воздух напитан был электричеством. Может быть, одни близорукие в высших сферах не замечали этого. Говорили очень вольно—даже в наших военных кружках. „Не даром же в русском гербе двуглавый орел, и на каждой голове корона: ведь и у нас два царя: Александр I да Аракчеев I“. Даже простой народ громко роптал на Аракчеева.

Приближалось 14-ое декабря и, как все великие события, бросало тень перед собою. Полковник Пестель [3] был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был идолом 2-ой армии. Из нашего и из других полков офицеры беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. „Там свобода! Там благородство! там честь!“ Кессман и Сверчевский имели ко мне неограниченное доверие. Они без малейшей застенчивости обсуждали передо мной планы восстания, и как легко было бы, например, арестовать моего отца и завладеть городом и пр. Я все слушал, все знал, на все был готов: мне кажется, я пошел бы за ними в огонь и воду...

---

[1] „Воспоем более возвышенное“ (из Виргилия).

[2] К сожалению мы ничем не можем дополнить сведений о революционных настроениях Кессмана и Сверчевского, сообщаемых Печериным. По данным последнего Кессман покончил самоубийством до декабрьского восстания, а Сверчевский был расстрелян в 1831 г. в связи с польским восстанием. Но ни в материалах о декабристах, ни в материалах о восстании 1831 г. мы не нашли этих имен.

[3] Пестель Павел Иванович (1793—1826)—виднейший руководитель движения декабристов, один из основателей „Союза Спасения“ (1817) и „Южного Общества“ (1821), автор „Русской Правды“; служил во второй армии, расположенной в Киевской губ. Арестован 13 декабря 1825 г., будучи командиром Вятского полка; 13 июля 1826 г. казнен. Комиссия по делу 14 декабря так охарактеризовала Пестеля: „Он господствовал над сочленами своими, обворожал их обширными познаниями и увлекал силой слова к преступным намерениям его разрушить существующий образ правления, ниспровергнуть престол и лишить жизни августейшие особы императорского дома. Словом, он был главой общества и первейшей пружиной всех его действий“.

Здесь рождается любопытный вопрос: а что бы я сделал, если б, действительно, пришлося к делу? Остался ли бы верным дружбе до конца?—или, может быть, по русской натуре я сподличал бы в решительную минуту, предал бы друзей и постоял бы за начальство? Ей богу не знаю! трудно отвечать.

Учение Кессмана совершенно меня преобразило. Идеи вольности и христианского равенства глубоко запали в душу, и я решился привести их к буквальному исполнению. У меня, разумеется, был мальчик—Ониська—который ходил за мною, подавал мне умываться и пр. Я решительно отказался от его прислуги, к крайнему неудовольствию моего отца. Я не хотел иметь рабов—я сам себе прислуживал. Когда солдаты делали мне фрунт (а как же? майорскому-то сыну!) я снимал картуз и учтиво раскланивался. Это было смешно и совершенно неприлично. Мне надлежало бы пройти мимо с надменным видом, не обращая на них ни малейшего внимания.— Все это было так из рук вон, что даже Афонька, камердинер нашего полкового командира, потерял терпение и, в каком-то порыве священного холопского негодования, сделал мне выговор. „Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! Ведь вы вовсе не как следует русскому барину: вы словно какой-нибудь француз или итальянец!"—Ах! если бы в эту минуту я замахнулся и дал бы ему оплеуху,—он, наверное, глубоко бы передо мной преклонился и признал бы меня за истого русского дворянина!

Я даже сделал попытку революционной пропаганды и политического красноречия. Какие-то мужики работали около нашего сада. Вот я так и грянул им речь о свободе!— Это тотчас же донесли в главную квартиру. Маменька сделала мне выговор, но с таким умом и тактом, которые очень хорошо показывали, что она вовсе не против свободы... Ах! она была святая женщина — гораздо выше своего времени и той среды, в которой она поставлена была судьбою.

Вот так-то я развивался по Эмилю—все кажется хорошо—одного не доставало: у Эмиля была Юлия! Да как же? Ведь надобна же юноше чистая и сьятая привязанность для того, чтобы предохранить его от нечистой любви; нужен ангел-хранитель, чтобы спасти его от порока. Но как и где найти ее? Вот в том-то и дело! Найти женщину—как отец Анфантен [1] искал ее даже на отдаленном востоке. Но ведь

---

[1] Анфантен (1796—1864)—один из ближайших учеников Сен-Симона, публицист и оратор; организатор сен-симонистской общины в окрестностях Парижа, против которой в 1832 г. был возбужден громкий политический процесс. Анфантен особенно подчеркивал и разрабатывал религиозную сторону сен-симонистского учения, уделяя главное внимание вопросам морали и быта. Религиозно настроенные последователи Анфан-

русская пословица говорит: на ловца и зверь бежит. И Юлия нашлась, но для этого надо перенести сцену в другую местность.

Хмельник, Подольской губернии 1823 год.

Und herrlich in der Jugend Prangen,
Wie ein Gebild aus Himmelshöhen,
Mit züchtigen, verschämten Wangen
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn

Шиллер [1]

Мне было 16 лет. Я только что воротился из Киевской гимназии, где я пробыл около года,—к крайнему огорчению моей доброй маменьки. Да и было от чего огорчаться! Уж чего я не наслышался между офицерами и солдатами; но, признаюсь, никогда в армии я не слыхал подобных мерзостей, как в этом благородном пансионе (у директора гимназии). А ведь тут был цвет южного дворянства из Херсонской и других губерний. О, русское дворянство! „Изрекли уж Эвмениды приговор свой роковой, и секира Немезиды [2] поднята уж над тобой!“ Учитель-надзиратель (он был коренной русский) пансиона рассказывал нам с большим вкусом—con gusto—великие подвиги Екатерины II—не те подвиги, которые история записала на своих скрижалях, а другие, принадлежащие к тайной придворной хронике. Придворная жизнь, со всеми ее подробностями, была в глазах его высоким идеалом, к которому всем должно стремиться. Он же научил нас петь следующую песенку:

On parle de philosophie,
On ne sait pas la definir,
Mais la seule digne d'envie
La mienne enfin—c'est de jouir,
Sourire à l'aimable folie
Pour mieux jouir, être inconstant,
C'est ainsi qu'on descend gaîement
La fleuve de la vie.
Les anciens sages de la Grèce
N'étaient pas sages tous les jours,

тена считали его „отцом“ своей общины. Проповедь Анфантена вызвала раскол в сен-симонистской школе; после ряда неудач в своей проповеднической деятельности Анфантен перешел к работе в области промышленности и умер крупным железнодорожным деятелем.

[1] Цветущей юностью сияя,
С величьем чудной красоты,
Как мимолетный ангел рая,
Как образ с горней высоты,
Пред ним—и скромно и стыдливо—
Стояла дева молчаливо.

Из „Песни о Колоколе“ Шиллера (пер. А. Глинки).

[2] Эвмениды — богини-мстительницы, Немезида — символ карающей справедливости в греческой мифологии.

On a vu souvent leur sagesse
Echouer auprés des amours.
Sourire a l'aimable folie etc [1]

Вот в каких принципах воспитывалось русское дворянство. В этом случае я отдаю пальму Кессману: он по крайней мере дал моему уму более серьезное направление. Чего уж не преподавали в этой пресловутой гимназии! Даже психологию и римское право! Но все—ужасно поверхностно! Никто и ничему и не учился основательно. Это была фразеология, фантасмагория, пыливглазабросание—словом—умственный разврат! Если не ошибаюсь, таков был дух всех лицеев, школ, гимназий того времени. Невольно подумаешь с Скалозубом, что уж лучше бы было учить там по нашему: раз-два, а книги сберечь для важных лишь оказий.

Приближалось светлое христово воскресение. Вся природа воскресала. Теплый весенний воздух призывал к новой жизни и к тоске по родине. Прислали за мной Никифора привезти меня домой. Знаете ли что такое Хмельник? Тут была в старину турецкая крепость на пригорке, на берегу Буга. В 1823 еще видны были ее остатки. На месте крепости стоял довольно красивый господский дом. В нем жил отставной полковник Гофмейстер, управляющий имением графа Киселева. У него была жена и дети: мальчик лет девяти и девочка 12 или 13 лет—очень умненькая и очень недурная собою: роскошные каштановые волосы упадали на ее плечи,—голубые глаза,—греческий нос,—розовые щечки. Ее обыкновенно звали Бетти, а официально Елизаветою Михайловною.

Вот она-то предстала предо мною, как светлое видение, в незабвенный светлый празник 1823 года. Мы не сказали ничего, но уж друг друга знали. Да и действительно так было. Кессман был теперь учителем в доме Гефмейстера. Драма нашей любви была им подготовлена—роли розданы

---

1 Толкуют о философии,
Не зная, что и сказать.
Моя философия—
Жизнь прожигать,
Улыбаться милым безумствам—
Жизнь прожигать!—
Веселее плыть по течению
И чувства менять.
Мудрецы древней Греции
Умны не всегда:
Пред любовью их мудрость
Сдает иногда...
Улыбаться милым безумствам
И т. д.

(пер. Т. Гл.)

и заучены. Все делалось буквально по Руссо. Едва ли кто теперь читает Новую Элоизу (Nouvelle Heloïse), но если вы ее читали, то знаете, что там есть знаменитая сцена первого поцелуя в боскете. Вот эту-то сцену мы и скопировали. В один прекрасный майский день, часов около трех по-полудни, когда почтенные родители почивали, я пробрался заднею калиткою в сад управителя, перешел через деревянный мостик на Буге, повернул направо в рощицу. Там она ожидала меня с учителем. Учитель скрылся за деревьями— Бетти бросилась в мои объятия.—Все это было очень глупо, очень натянуто, смешно,—как хотите—но совершенно невинно. При этом она вручила мне письмецо с локоном ее волос и колечком. Долго, долго, почти до конца моего университетского курса я хранил это сокровище. Как и где они погибли,—не знаю, вероятно, они канули вместе с прочим в омуте петербургской жизни.

Сцена в рощице повторялась каждый день. Под-вечер я приходил в учебную комнату к концу уроков—маленького братца высылал вон,—учитель прятался за кулисы, и мы оставались с ней одни на несколько минут.—Бог мне свидетель! Никогда никакая дурная мысль не посещала меня в ее присутствии. Никакое облачко не помрачало этого ясного майского дня. Я приближался к ней с таким же благоговением, с каким у нас прикладываются к святым мощам и иконам...

„O, zarte Sehnsucht, süsses Hoffen
Der ersten Liebe gold'ne Zeit!
Das Auge sieht den Himmel offen
Es schwelgt das Herz in Seligkeit“ [1].

Я не могу не цитировать Шиллера,—его стихи вошли у меня в сок и кровь, перевились с моими нервами: словом вся жизнь моя сложилась из стихов Шиллера, особенно из двух поэм: „Sehnsucht“ и „Der Piligrim“. [2]

План жизни моей был готов. Я еду в университет,— оканчиваю курс,—получаю диплом, возвращаюсь в Хмельник и женюсь на ней. Каков план для сына русского майора, у которого за душей было около 60-ти душ в сельце Навольковом. Позняки тож! Ведь это хоть какому английскому лорду под руку! Но мы расчитывали без хозяина. Роман наш продолжался три месяца и кончился самым трагическим обра-

---

[1] О, нега чувств, надежды сладость!
О, первой страсти миг златой!
Душа вкусила жизни радость,
Для ней открылся рай земной!
Из „Песни о Колоколе“ Шиллера (пер. Д. Мина).

[2] „Желание“ и „Пилигрим“.

зом. Родители Бетти как-то узнали о наших проделках, вероятно, маленький братец донес. Учителю отказали от дома. Он приготовился к отъезду. Вот тут влияние гимназии отозвалось на мне. Место бескорыстной самопожертвованной дружбы заступил какой-то холодный расчетливый эгоизм.

Как скоро я узнал, что Кессман попал в немилость, я охладел к нему. Я хотел быть порядочным человеком и стоять хорошо в глазах начальства. Я равнодушно смотрел на его приготовления к отъезду. Вот это-то равнодушие нанесло ему смертельный удар. Бедный Кессман! Не первый ты и не последний, что обманулся в русском юноше! Да где нам! Какого благородства от нас ожидать? Рабами мы родились,— рабами мы живем,—рабами и умрем. „Рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют!"

За несколько дней до отъезда он попросил меня перевести ему на французский Тассовы „Ночи". Накануне отъезда, ввечеру он заперся в свою комнату,—хватил бутылку вина,— зарядил пистолет, приставил к груди и—прямо в сердце! Его нашли лежащим на полу, куски его сердца были разбросаны, подле него лежали Тассовы „Ночи", забрызганные его кровью. Мне не позволили видеть его трупа. Священник отказался похоронить его на кладбище. Вот так его и зарыли в одном из курганов около Хмельника. Я ходил после на его могилу не то чтобы плакать, а так, чтобы совершить сантиментальный долг и покончить роман. Никто не мог совершенно объяснить, что его побудило к этому отчаянному поступку.—Думали, что он слишком был замешан в революционных проделках и не знал, куда деваться.—Так погиб несчастный Кессман. Не мне его судить. Он заронил искру, которая еще не погасла. Он навсегда предохранил меня от несчастия сделаться верноподданным русским чиновником Николаевского времени...

Вскоре после этого мы оставили Хмельник, и я расстался с нею навсегда. А что же сделалось с Сверчевским, задушевным приятелем Кессмана? Сверчевский?—Он моим же отцом расстрелян был в 1831 году, там, где-то недалеко от Липовца. А что ж делала в это время моя добрая маменька? Она оставалась тем, чем всегда была,—ангелом мира и жертвою искупления. Ее гостиная была в то время (1831) набита польскими дамами. Они со слезами, на коленях умоляли о пощаде отцу, мужу, сыну—но что же она могла сделать против железной русской судьбы, которой представителем был командир 2-го баталиона?

Ну, что же? удалась ли система Руссо? и какой был ее последний вывод?—А вот посмотрим! В 1825 году я поехал в Петербург и попал там в странное общество—общество гвардейских подпрапорщиков, мелких чиновников, актеров, балетных танцоров, игроков, пьяниц, Выжигиных

всякого рода—да что тут говорить о Выжигиных? Даже сам великий отец Выжигиных—Ф. В. Булгарин [1] жил в одном со мною этаже в доме Струговщиковой,—хотя, впрочем, я не достиг до высокой чести быть лично с ним знакомым. (Только за несколько дней до 14-го декабря я видел, как он из окна разговаривал с Федором Глинкою [2], стоявшим на улице).—От этого нелепого общества я убегал в свой внутренний мир, в идеал, в Хмельник—к ней! Единственным утешением моим было читать „Новую Элоизу" Руссо... Да! Господа, смейтесь, сколько хотите: но все-таки согласитесь, что общество Сенпре, Юлии и лорда Эдуарда [3] все-таки лучше семьи Выжигиных. В страницах Руссо я дышал свободнее, я очищался, умывался от грязи „Северной Пчелы" и других произведений той эпохи. Среда, в которой я жил, проскользнула только снаружи, не коснувшись моей внутренней жизни: она меня спасла! Когда, наконец, в порыве благородного негодования, я прервал всякую связь с этим безобразным обществом и удалился в пустыню на пятый этаж в Гороховой улице,—она золотила мою темную конуру, ее светлый образ рисовался на стене, исписанной разными философскими изречениями. Когда я начал изучать Канта и в первый раз испытал упоение философского мышления (Der Wahn des Denkens), она улыбалась мне из-за философских проблем и благословляла меня на путь...

Aus der Wahrheit Feuerspiegel
Lächelt sie den Forscher an.
Zu der Tugend steilem Hügel
Leitet sie des Dulders Bahn.

(Шиллер) [4].

Она участвовала во всех высоких помыслах, во всех благороднейших стремлениях души моей. Я перестал об ней думать—когда?—Когда, утомленный неравною борьбою с

---

[1] Булгарин (1789—1859)—журналист, в начале своей деятельности близкий к декабристам, Пушкину, Грибоедову и т. д.; после восстания 14 декабря 1825 г., предавши своих личных друзей—декабристов, Б. стал идейным выразителем реакции, прямым наемником III отделения и систематическим доносчиком. С 1825 г. он, вместе с Гречем, становится во главе единственной тогда в России частной газеты „Северная Пчела". Булгарину принадлежит популярный в свое время роман „Иван Выжигин", который и имеет в виду Печерин.

[2] Глинка, Федор Николаевич (1786—1880)—поэт и публицист, близкий, в начале своей деятельности, к правому крылу декабристов; после 14 декабря 1825 г. был сослан в Олонецкую губ., но скоро возвращен и превратился в поэта и публициста самой черной реакции.

[3] Действующие лица в „Новой Элоизе" Ж.-Ж. Руссо.

[4] В ярком истины зерцале
Образ твой очам блестит;
В горьком опыта финале
Твой алмаз на дне горит.

(Из „К радости", пер. Ф. Тютчева).

бедностью, я, очертя голову, бросился в казенные студенты и просто канул в грязную действительность... Но и тут еще раз она вспыхнула передо мною... Один из товарищей, знавший мою тайну, встретил ее где-то в петербургской гостиной. Она была в то время взрослою девицею во всем блеске юности и красоты—с тех пор я никогда уже об ней не слыхал. „И на веки след ее исчез". И если теперь, когда я пишу эти строки,—при мысли об ней—слезы брызнули из глаз моих—кто дерзнет меня порицать?

Эпилог.

В 1839 г., в один прекрасный летний день я проходил по одной из улиц города Литтиха (Liège) в Бельгии—в старом сюртуке, с бородою и длинными волосами,—я в то время был благочестивым Сен-Симонистом. Попадается мне навстречу человек с младенцем на руках. Малютка загляделся на меня, как на какое диво, и протянул ко мне обе рученки. Отец с досадою и довольно громко сказал: „Ne le regarde pas, mon enfant! C'est un fou" [1]. Может быть, любезный племянник, прочитавши эти записки, вы согласитесь с мнением этого почтенного гражданина гор. Литтиха!

Мать и отец.

Любезнейший племянник Савва Федосеевич!

Вы сами приглашаете меня продолжать мои записки. У меня к этому есть сильное побуждение. Жизнь быстро улетает. Мне хочется оставить по себе хоть какой-нибудь след. Может быть, когда меня не будет на свете, кто-нибудь случайно прочтет эти строки и, если у него есть человеческое сердце, он пожалеет обо мне и скажет: „Этот человек достоин был лучшей участи".

При жизни батюшки [2] не ловко было писать о тех обстоятельствах, в которых заключается тайна моей жизни и без которых она осталась бы необъяснимою загадкою. Теперь надобно возвратиться назад, в Одессу, в 1815 г. Я остановился на этих словах: „С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становлюсь посредником между тиранами и их жертвами". Теперь продолжаю:

По благому русскому обычаю, отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как

---

[1] Не смотри на него, дитя! Это—сумасшедший.

[2] Отец Печерина (род. в 1781 г.) умер в 1866 г., проведя всю жизнь на службе в армии. В 1806 г. он женился на Пелагее Петровне Симоновской. В. С. Печерин был их единственным сыном.

их драли, в конюшне. Мать подсылала меня к отцу ходатайствовать за Ваську или Яшку. Я плакал, умолял, целовал руки у отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы... Но и мать моя сама была жертвою... Однажды она взяла меня за руку, повела в уголок и поставила на колени подле себя перед образом св. Николая и со слезами сказала: „О, св. Николай! ты видишь, как несправедливо с нами поступают!“ Между тем, в ближней комнате шла вечеринка. Песенники пели с бубнами и тарелками модную в то время песню:

„Посреди войны кровавой
Истреблю тебя, любовь!
Разорву твой плен суровый
И свободен буду вновь!“

Но царицею этого праздника была не мать моя, а другая... Эта другая—была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Тут я бросаю перо и невольно задумываюсь.

Вот где узел моей жизни! Вот таинство судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отомщающий за обиду не отца, а матери! Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство мести, овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по за-границе, это беспрестанное желание отделаться от родительского дома, искать счастия где-нибудь в другом месте?

Мне было 12 лет в 1819 г., в Дорогобуже.—Я решил бежать во Францию. Какой-то офицер был женат на француженке, и они собирались ехать за границу. В день их отъезда я вышел за ворота и поджидал их. Как только они подъедут,—думал я—я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: „Je suis un pauvre petit enfant—je veux aller en France—prenez moi avec vous!“ [1].

Но никакой экипаж не проезжал, а далее ворот итти храбрости не стало. Но откуда же взялось это желание бежать во Францию? Неужели же от влияния французской литературы? Посмотрим.

Я начал учиться по-французски в 1817 г. (т. е. мне было 10 лет) у учителя народного училища в Велиже Витебской губернии. Первую французскую книгу я получил от одного из наших офицеров—это был роман Радклиф „La forêt“. Потом дядя, Василий Петрович Симоновский, прислал мне „Magazin des enfants“, который я изучил с величайшим наслаждением. В Дорогобуже я читал Телемака и переводил его

[1] „Я бедный мальчик, я хочу отправиться во Францию, возьмите меня с собой!“

для маменьки. Тут же я читал трагедии Расина и сам разыгрывал их на уединенной сцене [1]. Неужели же эта литература могла иметь такое чрезвычайное влияние? Правда, с самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам—какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду. Правда и то, что в Дорогобуже это стремление было решительно к Франции. Всего забавнее, что в день рождества христова, когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от Галлов и с ними двадесяти язык,—я про себя молился за французов и просил бога простить им, если они заблуждались!—Как трудно следить за этими тонкими нитями жизни! Какая тайна—развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? Зачем же оно не раскинулось шире и роскошнее? Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, может быть, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца!

1823—1825.

После смерти Кессмана отец мой, не знаю, как это сказать, почти меня возненавидел. Он считал меня способным ко всему дурному. Это можно некоторым образом объяснить насильственною смертью моего учителя и либеральными принципами, которые он мне внушил. Но были и другие причины. Около этого времени мать моя перехватила любовное письмо от вышеупомянутой полковницы Мольтрах к моему отцу и сама взялась на него отвечать, а меня заставила переписать на бело. Вероятно—это каким-нибудь образом дошло до сведения отца и, разумеется,—не улучшило наших взаимных отношений. 2-ой баталион был отделен от полка и послан на военное поселение в Новомиргород Херсонской губернии, а зиму мы провели в какой-то Комиссаровке, где нас буквально занесло снегом. Я остался один, без дружбы

---

[1] Анна Радклиф (1764—1823)—английская писательница, автор пользовавшихся в начале XIX в. громадной популярностью и вызвавших массу подражаний приключенческих романов. „Magazin des enfants"—„Журнал для детей". Телемак—„Приключения Телемака", поэма французского писателя Фенелона, появившаяся в 1699 г., классическое произведение французской литературы, на котором европейская буржуазия XVIII в. охотно воспитывала молодое поколение.

Расин (1639—1699)—крупнейший представитель французской драматургии, автор классических трагедий; в XVIII—XIX веке изучение их считалось необходимым элементом французского „воспитания" аристократической молодежи во всей Европе, не исключая и России.

и любви. Мой ум принял серьезное направление. К счастью, я выучился по-латыни в гимназии, а из библиотеки дедушки Симоновского взял книгу—„Selectae Historiae“ [1]. Это было не что иное, как собрание изречений знаменитейших философов древности, особенно стоической школы. Читая и перечитывая эту книгу, я пришел к заключению, что внутренняя доблесть и независимость духа прекраснее всего на свете— выше науки и искусства, лучше всего блеска, богатства и почестей, и я сделался стоическим философом. Я и теперь думаю, что это единственная философская система, возможная в деспотической стране. Все великие римляне, во время Империи, были стоиками.

Но у нас между офицерами ходили по-рукам и другие книги, напр. „Сочинения Вольтера, переведенные на российский язык по приказанию ее императорского величества Екатерины 2-ой“. Вот как в старину просвещали Россию!— Каждое животное по инстинкту находит на пастбище пищу, свойственную его желудку. Вот так и я по какому-то инстинкту попал на статью Вольтера о Квакерах, где он описывает их житье-бытье и восхваляет их добродетельные нравы. Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова штука? Вы смеетесь? „Какая колоссальная глупость!“ А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьется, как рыба на мели, не знает, куда ударить головою.

Как же я проводил время в этой Комиссаровской пустыне? А вот как. Одним моим утешением был—географический атлас. Бывало по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия! Воображение наполняло жизнью эти разноцветные четвероугольники и кружки—эти миры, департаменты, кантоны. „Ach, wie schön muss sich's ergehen dort, im ew'gen Sonnenschein!“ [2], а сердце на крылах пламенного желания летело в эти блаженные страны, и Шиллерово Sehnsucht переливалось в русские стихи: „Ах, из сей долины тесной, хладною покрытой мглой, где найду исход чудесный? Сладкий где найду покой?“

Так проходили дни, а по вечерам повторялась одна и та же скучная история. В седьмом часу приходил ординарец, или как его звали, и рапортует: „Ваше высокоблагородие!

---

[1] Избранные истории.

[2] „Ах, как прекрасно должно быть там, в вечном солнечном сиянии“ (Шиллер. Sehnsucht). Шиллерово „Sehnsucht“—стих. Шиллера „Желание“, переведенное Печериным; цитата из этого перевода и приводится ниже.

все обстоит благополучно, нового ничего нет", потом полоборота направо и марш. Остаются действующие лица: отец, адъютант и я. Отец ходит взад и вперед по комнате, адъютант стоит в почтительном расстоянии у дверей и не смеет садиться, я сижу на скамье. Переливается из пустого в порожнее. Да о чем же говорить в этой глуши, где не было ни журналов, ни газет, ни каких-либо книг, кроме вышереченных? Сколько тут накипелось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России? Да из-за чего же было мне любить Россию? У меня не было ни кола, ни двора—я был номадом, я кочевал в Херсонской степи,—не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний,—родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. Неудивительно, что впоследствии, когда я выучился по-английски, Байрон сделался моим задушевным поэтом. Я напал на него, как голодный человек на обильную пищу. Ах! как она была мне по вкусу! Как я упивался его ненавистью! Как я читал и перечитывал его знаменитое прощание Англии: Adieu, adieu my native shore! [1] Как часто я говорил с ним: „О быстрый мой корабль! неси меня, куда хочешь, но только не назад на родину!" Неудивительно, что в припадке этого байронизма, я написал (в Берлине) эти безумные строки:

Как сладостно—отчизну ненавидеть,
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение!

Вот молодой человек 18-ти лет, с дарованиями, с высокими стремлениями, с жаждою знания, и вот он послан на заточение в Комиссаровскую пустыню, один, без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем! Ужасное положение! А вот вам и другая картина!

В Англии, в Америке—молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родился он, хоть в какой-нибудь Калифорнии или Орегоне,—все ж у него под рукою все подспорье цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с ее славными борьбами и высокими наградами,—выбирай, что хочешь! нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспре-

[1] „Прощай, прощай, мой край родной!" – из „Прощания Чайльд-Гарольда".

станно ему кричит: вперед goa head! Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне! А я—в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка,—кое-как пробивался из тьмы на божий свет, но и тут, едва я подымал голову, меня ошеломливали русскою дубиною.

Моя судьба висела на волоске. Не будь мать, которая непременно хотела мне дать наилучшее воспитание, отец давно уж бы записал меня в военную службу, а там я уж несомненно бы погиб и физически и нравственно. Я все просился в университет. Отец однажды сказал мне: „Вот я тебе дам 500 рублей, поезжай в Харьков и купи себе диплом". Боже милосердный! Можете себе представить, с каким негодованием я принял это предложение. Я не диплома искал, а науки.

Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить человека, а у нас об одном хлопочут—как бы сделать чиновника, а после этого хоть трава не расти. Вечное правосудие! Я предстану перед твоим престолом и спрошу тебя: „Зачем же так несправедливо со мною поступлено? За что же меня сослали в Сибирь с самого детства? Зачем убили цвет моей юности в Херсонской степи и Петербургской кордегардии? За что? За какие грехи?" Безумие! Фразы! Реторика! На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять главу. Никому нет привилегии. Попал под закон—ну так и неси последствия. Это—закон географической широты. Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под Архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!

В Новомиргороде случилось событие. Боже мой! от каких безделиц зависит судьба человека! И как осторожны должны быть отцы семейств в своих словах и действиях. Однажды—в соседней комнате, за тонкою перегородкою, я слышал разговор отца с матерью. Я вовсе не хотел подслушивать, но мне невозможно было не слышать. Мать жаловалась, что какие-то серебрянные ложки пропали,—нигде не можно их найти. Отец тотчас же подхватил: „А кто знает, может быть, они понадобились Владимиру Сергеевичу для его мелких издержек". Мать так и ахнула от ужаса. „Как же возможно говорить подобные вещи!"—сказала она. Действительно, это были слова ужасающего легкомыслия, чтобы не сказать чего-нибудь похуже.—Подобные обиды не прощаются. После этого уж никакое примирение не было возможно. Первая мысль моя была:—тотчас же бежать,—бежать? Но куда? Как? Из России-то бежать? Да еще из Херсонской

губернии? Вторая мысль: я торжественно поклялся, что, если когда-либо выеду из родительского дома, то никогда, ни под каким предлогом, в него не возвращусь. Теперь этому почти 42 года прошло, и вы видите, как славно я сдержал свое слово!

Наконец, настал благословенный 1825 год. Дядя Ильин вызвал меня в Петербург. Ужасно холодно и натянуто было мое прощание с отцом. Выходя из ворот, лошади каким-то странным образом попятились. Никифор тотчас же заметил: „Это значит, что он не воротится назад!“ Говорите же теперь против народных поверий! Маменька провожала меня до Олишевки, где жил дядя Шрамченко. С горькими слезами я простился с нею и, разумеется, навсегда!

Прошло 10 лет. Я возвращался из Берлина в Россию с отчаянием в душе и с твердым намерением уехать за-границу при первом благоприятном случае. Как меня ожидали в Одессе! После десятилетней разлуки приятно было родителям увидеть сына, так хорошо окончившего свое учебное поприще: окончив с успехом курс в университете, я побывал за-границею и теперь ехал в Москву на место профессора с отличным жалованием. Чего бы, кажется, лучше желать по русским понятиям? Вот так меня с нетерпением ожидали к летним вакациям (1836). Но когда я подумал, что надобно возвратиться в прежний домашний быт, увидеть всю обстановку провинциальной русской жизни,—передо мною поднялась высокая непреодолимая стена—невозможно! Невозможно! Невозможно! Одно меня смущало: я знал, что это нанесет жестокий удар сердцу матери... но и в этой борьбе я одолел! Надобно было обмануть родителей! Я написал к ним, что необходимые дела призывают меня в Берлин, но что я заеду к ним на обратном пути через Вену.

Надобно было также провести начальство, Я подал просьбу об отпуске в Берлин „для свидания с одним семейством, с которым я связан тесными узами“. Из этого тотчас заключили, что я намерен жениться [1]. Благодушный попечитель, граф Строганов [2], потирая руками, сказал профессорам:

---

[1] Этому было некоторое основание. В Берлине была интимная связь, но о женитьбе и думать было невозможно. Прим. В. Печерина.

[2] Строганов Сергей Григорьевич, граф (1794—1882)—один из крупнейших русских помещиков, в 1835 г. был назначен попечителем Московского учебного округа и выделился на этом посту на фоне администраторов николаевской России такими чертами, которые обеспечили ему сочувственное отношение со стороны интеллигенции: он освободил университет от старого профессорского хлама, поддерживал молодую группу профессоров (Грановский и др.), отстаивал некоторые цензурные облегчения. „Из всех аристократов, известных мне, я в нем одном—писал Герцен о Строганове—встретил много человеческого“. После бегства Печерина за границу Строганов приложил много усилий к тому, чтобы убедить его вернуться на кафедру московского профессора. Печерин ответил Строганову решительным отказом

„Я этому очень рад, это его успокоит и сделает более оседлым“. А Каченовский тут же в университете, смеясь, сказал мне: „ведь это что-то вроде Ломоносова“. В день заседания Университетского Совета по поводу моей просьбы, я был бледен, как полотно,—мне почти сделалось дурно,—я должен был спросить у сторожа стакан воды. Действительно, для меня это был вопрос жизни и смерти... Но все кончилось благополучно, и в половине мая 1836 я выехал из ненавистной мне Москвы.

В январе следующего года (1837) я получил в Цюрихе письмо от гр. Строганова, которое доселе храню, как памятник благороднейшего и честнейшего человека. Я со временем его вам перешлю. В 1838 году я странствовал по Франции. На мне всего была одна рубашка и изношенная блуза, а в кармане пол-франка. При мне было письмо Строганова. Но, несмотря на мое крайнее положение, я никогда ни на одну минуту не имел поползновения воспользоваться этим письмом, которое давало мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Такова была моя непреклонная воля не возвращаться в Россию! Вот так-то я потерял все, чем человек дорожит в жизни: отечество, семейство, состояние, гражданские права, положение в обществе—все, все! Но зато я сохранил достоинство человека и независимость духа. Смотрю назад—и мне кажется, что я не могу найти в моей жизни ни одного поступка, сделанного из каких-либо корыстных видов. Я просто донкихотствовал; я вечно воевал из-за идеи, точь-в-точь, как Наполеон III, с тем только различием, что я не приобрел ни Савойи, ни Ниццы [1]. Этим я оканчиваю сказание о моей жизни в России, „где я страдал, где я любил, где счастье я похоронил“ (Пушкин).

Эпизод из петербургской жизни.
(1830—1833).

> Дела давно минувших дней,
> Преданья старины глубокой.
>
> Пушкин.

Бури улеглись—настала какая-то глупая тишина—точно штиль на море. В воздухе было ужасно душно, все клонило ко сну. Я действительно начинал уже дремать. Мне грезился

В 1847 г., разойдясь с министром народного просвещения, ярым реакционером, С. С. Уваровым, Строганов вынужден был отказаться от поста попечителя Московского округа; впоследствии Строганов, выступал, как ярый реакционер и последовательный защитник дворянских интересов.

[1] Иронический намек на австро-итальянскую войну 1859 г., в которой Наполеон III принял участие якобы из-за сочувствия идее итальянской независимости, но в результате которой отторгнул и присоединил к Франции итальянские области Савойи и Ниццы.

какой-то вздор, какое-то счастье: жить в уединении с греками и латинами и ни о чем более не заботиться... Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции... Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно дух святой низошел на них. Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр. и пр. Да чего тут еще не говорили... И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas! [1]

С тех пор я уже более не засыпал... Ах, нет! виноват, грешный человек! Я проспал двадцать лучших лет моей жизни (1840—1860). Да что же тут удивительного! Ведь это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и то и другое сделал: и проспал, и проигрался впух.

Но в то время случилось обстоятельство, надолго помешавшее мне заснуть. Попечитель Бороздин [2] позвал меня к себе. „Вот видите, в чем дело. Барон Розенкампф [3] занимается изданием Кормчей Книги. Ему надо разобрать и частию переписать греческую рукопись Номоканона. Вы можете ему помочь в этом. Я освобождаю вас от некоторых лекций, а именно от лекций Зябловского".—Зябловский был скучный и бездарный профессор довольно скучного предмета: тогдашней русской статистики. За-то он уж и отомстил мне на экзамене, поставив мне 3 вместо ожидаемых 4. Но, разумеется, высшее начальсто поправило эту ошибку, и я выдержал кандидатский экзамен на славу.

Где-то, кажется на Садовой, был большой деревянный дом довольно ветхой наружности. Тут жил барон Розенкампф.

Каждое утро, в 8-м или 9-м часу, я являлся в его кабинет и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись X-го или XI-го века из Публичной библиотеки. Сколько

---

[1] Святая простота!

[2] К. М. Бороздин (1781—1843)—с 1826 по 1833 г. состоял попечителем петербургского учебного округа, впоследствии сенатор. Бороздин занимался археологией и памятниками древней русской истории.

[3] Барон Розенкампф (1764—1832)—один из главных руководителей „Комиссии составления законов", организованной в царствование Александра I для кодификации русского права; сотрудник Сперанского и впоследствии его противник. После возвращения Сперанского Р. лишился своего поста в Комиссии (1822 г.), попал в опалу и жил в полной заброшенности и бедности, занимаясь литературным трудом, в частности, историческими и филологическими изысканиями о „Кормчей книге", в которых и помогал ему Печерин. „Кормчая книга"—старинный сборник церковного права, перешедший в Россию из Византии. Составленное Розенкампфом „Обозрение Кормчей книги в историческом виде" было издано впервые в 1829 г. Розенкампф умер действительно в такой бедности, что мог быть похоронен только на казенные средства. Его жена—Мария Баламберг, умерла в 1834 г., через два года после смерти мужа.

я над нею промечтал! Я воображал себе бедного византийского монаха в черной рясе,—с каким усердием он выполировал и разграфил этот пергамент. С какою любовью он рисует эти строки и буквы! А между тем вокруг него кипит бестолковая жизнь Византии, доносчики и шпионы снуют взад и вперед; разыгрываются всевозможные козни и интриги придворных евнухов, генералов и иерархов; народ, за неимением лучшего упражнения, тешится на ристалищах; а он, труженик, сидит да пишет... „Вот, думал я,—вот единственное убежище от деспотизма: запереться в какой-нибудь келье да разбирать старые рукописи".

Около 4-го часу приходил старый, белый как лунь, парикмахер и окостеневшими пальцами причесывал и завивал поседевшие кудри барона. После этого туалета барон вставал, брал меня за руку, и мы отправлялись на половину баронессы к обеду.

Баронесса Розенкампф была женщина лет за сорок и более. Она была очень бледна, и какое-то облако грусти висело на ее челе; но видны были еще следы прежней красоты. Она, говорят, блистала при дворе Александра I. Барон занимал важное место: он, кажется, был председателем законодательной комиссии. Но с воцарением Николая они попали в немилость и теперь жили в уединении, оставленные и забытые прежними друзьями и знакомыми. Так, разумеется, и быть должно. В гостиной стоял великолепный рояль под зеленым чехлом, но баронесса никогда до него не дотрагивалась. На стенах были развешены произведения ее кисти, картины, бывшие некогда на выставке (между прочим я помню один прекрасный Francesco d' Assisi [1]); но эти картины были задернуты каким-то траурным крепом. Баронесса все оставила, все забыла, и живопись, и музыку. Она не любила даже смотреть на эти предметы, напоминавшие ей лучшее былое. Ее гордая душа вполне понимала смысл этих слов Данта: ничего нет больнее, как в бедствии вспоминать о счастливом времени.

В этом опальном доме господствовала оппозиция. Все действия нового правительства были беспощадно порицаемы. Когда мы читали в „Journal des Débats" [2] о первых неудачах русского оружия в Польше, барон качал головою и говорил: „Вот видите, так и выходит, что Гораций сказал правду: сила, без руководства разума, рушится от собственной тяжести!"

Редко кто заходил в этот забвенью брошенный дом, разве только иногда зайдет А. Х. Востоков [3], по каким-

---

[1] Т. е. картина, изображающая католического святого Франциска из Ассизи.

[2] Парижская газета.

[3] Востоков (1781—1864)—русский филолог и славист, издатель ряда памятников древне-русской и славянской письменности.

нибудь справкам для Кормчей книги. Только однажды, я помню, было нечто в роде званого обеда. Приглашены были старые друзья барона: пастор английской церкви, доктор Ло, португальский консул, да еще кто-то третий. По этому случаю баронесса немножко принарядилась, подрумянилась, ее бледные щеки оживились, она была очень мила, так что я почти в нее влюбился. Надо знать, что, в качестве петербургского юноши, я считал своим священным долгом влюбляться во всякую сколько-нибудь пригожую женщину... А она меня действительно полюбила чистейшею материнскою любовью. Она усердно принялась за мое воспитание. „Ах! как жалко, говорила она, как жалко, что в Петербурге нет средств для развития молодого человека!“

Я этим ужасно как обиделся. Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе [1] звезды с неба снимаем. А теперь, как подумаешь, так самому становится стыдно. Когда теперь припоминаю тогдашний Петербургский университет, то так и руки опускаются. Ведь, действительно, никакое самостоятельное развитие не было возможно. В преподавании не было ничего с е р ь е з н о г о: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки профессоров, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазубренным во время оно. Да и теперь, по слухам до меня дошедшим, немного лучше. Да что ж это за напасть такая, что нам наука вовсе не дается? А вот в чем загадка: з а к о н о д а т е л ь с т в у й т е, с к о л ь к о х о т и т е, н о н и ч т о в а м н е п о й д е т в п р о к, е с л и в ы и д е т е н а п е р е к о р н а р о д н о м у д у х у. Для русского свежего практического народа надо бы преподавание ограничить предметами первой необходимости, практически-полезными для государственной жизни, напр., восточными языками, науками физико-математическими, медициною и чем еще? Юриспруденциею? Ну, тут, кажется, надо еще немножко подождать, когда у нас будут законы, а то из чего же тут хлопотать? Какое тут законоведение, когда вы неуверены, что вчерашний закон не будет завтра же отменен?... А древние-то языки уж и подавно нам не дались. И неудивительно! Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории; так из чего же ей, с особенным т е р п е н и е м и л ю б о в ь ю, рыться в каких-нибудь греческих, римских, вавилонских или ниневийских развалинах! Она, пожалуй, сама сумеет подготовить материалы для будущих археологов и филологов. Понятен энтузиазм к древним классикам в начале 16-го столетия, когда Европа, выходя из средневекового хаоса, не видела перед собою другой

---

[1] Г р е ф е — профессор петербургского университета и академик. В качестве преподавателя греческой словесности он был ближайшим учителем Печерина.

путеводной звезды, кроме греческой и римской цивилизации.

Это невольно напоминает мне курьезный совет, данный мне покойным Н. И. Гречем,[1] когда я зашел к нему проститься перед отъездом за-границу. „Да из чего же это вы едете учиться за-границу? Ведь когда нам понадобится немецкая наука, то мы свежего немца выпишем из Германии; а вы так лучше оставайтесь здесь, да и займитесь русскою словесностью". Что я не последовал совету Н. И. Греча, в этом, конечно, русская словесность ничего не потеряла; но все же таки не могу не сознаться, что в словах его была доля правды, если под немецкою наукою он разумел классическую филологию.

Но это мимоходом. Баронесса Розенкампф принадлежала к чисто романтической школе, и ее идолом был Гете. У нее была прекрасная немецкая библиотека. „Вот вам Wilhelm Meisters Lehrjahre [2], сказала она однажды: читайте со вниманием. Уверяю вас, что нет лучшей книги для окончательного развития молодого человека". Тут невольно улыбнешься. Wilhelm Meisters Lehrjahre действительно могут развить в молодом человеке—совершеннейшего эгоиста. Да впрочем и сам Гете—не тем он будь помянут—был величайший эгоист.

„Да умный человек не может быть не плутом".

Прошел год или два, барон окончил Кормчую Книгу и написал к ней немецкое предисловие, где упомянул о моем сотрудничестве, и потом, как добрый работник,

Кончив тяжкую работу
Многотрудной жизни сей,

он слег отдохнуть, захворал и отошел на покой. Я проводил его на Невское кладбище. Поверите ли? В доме не нашлось ста бумажных рублей для его похорон. Деньги выдали, кажется, из министерства народного просвещения, по ходатайству старика Языкова. Баронесса распродала библиотеку покойника и лучшую часть своей мебели, а из последних денег еще дала, по обычаю, обед духовенству и некоторым знакомым. После этого она перебралась на маленькую квартиру в другой части города.

А я между тем поступил на службу. Меня сделали лектором и суб-библиотекарем при университете и старшим учителем в 1-й гимназии. Началась жизнь петербургского чиновника. Я усердно посещал маленькие балики у чиновников-немцев, волочился за барышнями, писал какие-то стишки и статейки в „Сыне Отечества"; но что еще хуже—я сделался

---

[1] Греч (1787—1867)—реакционный журналист, сотрудник Булгарина по редактированию органов реакционной печати после 1825 г.

[2] „Годы ученичества Вильгельма Мейстера", роман Гете.

ужасным любимцем товарища министра просвещения С. С. Уварова [1], вследствие каких-то переводов из греческой антологии, напечатанных в каком-то альманахе. Я начал просто ездить к нему на поклон, даже на дачу. Благородные внушении баронессы Розенкампф изглаживались мало-по-малу. Раболепная русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти.

К счастью, в одно прекрасное утро, 19 февраля 1833 г., очень рано, министр Ливен [2] прислал за мною и, сделав мне благочестивое увещание в пиетическом стиле, отправил меня в Берлин, где и поручил меня благим попечениям отъявленного пиетиста, профессора Кранихфельда [3], главы берлинских пиетистов.

Разумеется, нога моя никогда не была у Кранихфельда. Некоторые из товарищей нашли нужным, ради приличия, сделать ему визит; но я настоял на своем и тотчас же написал отчаянное письмо к академику Грефе, а через него к Уварову, что вот так и так, нас членов профессорского института, будущих профессоров России, отдали под присмотр какому-то берлинскому ханже, который шпионствует за нами даже на наших квартирах и пр. и пр. Письмо мое имело отличный успех. К этому времени Ливен вышел в отставку, а на место его сделался министром Уваров. Кранихфельда тотчас же отставили от должности и за это ему дали Владимира, а нас из духовного ведомства перевели в военное, т. е. отдали под надзор честнейшему и благороднейшему человеку, военному агенту генералу Мансурову [4].

---

1 Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855)—с 1811 по 1822 г. попечитель петербургского учебного округа, с 1833 по 1849 г.—министр просвещения. В молодости либерально настроенный, вращавшийся среди литераторов (он написал несколько работ по философии и классической филологии и археологии), Уваров в качестве министра просвещения сознательно проводил реакционную и грубо-классовую политику под официальным знаменем „православие, самодержавие и народность"; его беззастенчивый карьеризм и корыстолюбие заклеймены Пушкиным в „Оде на выздоровление Лукулла". Белинский характеризовал его словами: „министр погашения и помрачения просвещения в России".

2 Ливен Карл Андреевич (1767—1844)—был министром народного просвещения с 1828 по 1833 г.

3 Кранихфельд—берлинский профессор, врач по глазным болезням, ханжа и реакционер, служивший агентом русского министерства народного просвещения по наблюдению за посланными за границу студентами. В этой своей деятельности К. выполнял не только обязанности шпиона и доносчика, но и провокатора. О гнусной системе шпионажа, которую применял К. к молодым русским ученым за-границией, сохранились воспоминания Н. И. Пирогова, бывшего в Берлине одновременно с Печериным. (См. „Сочинения Н. И. Пирогова" т. 2, стр. 485—488).

4 Ал. Пав. Мансуров (1788—1880), в 30-х г. военный агент в Берлине, впоследствии посланник в Голландии принужден был служить за-границей вследствие запрещенного в России брака со своей двоюродной сестрой.

Перед отъездом в Берлин я зашел проститься с баронессою. Она теснилась в маленькой квартирке, но и тут ее отличный вкус и женский такт удачно сгруппировали остатки прекрасной мебели, обставив их разными милыми мелочами и роскошными цветами, так что ее гостиная представляла вид изящного будуара. Она очень похудела, стала еще бледнее, но ее потускневшие глаза засверкали какою-то материнскою радостью, когда она узнала о моем отъезде за-границу. С каким жарким участием она меня благословила на новый путь, на новый подвиг! Я в последний раз поцеловал ее руку.

Через два года, в 1835 г., я возвратился в Петербург, с какою неизлечимою тоскою в сердце, с какими отчаянными планами для будущего,—не здесь место об этом говорить. Иду по Невскому проспекту—попадается мне на встречу камердинер баронши.

—Ах, батюшка, Владимир Сергеевич! Не можете ли найти мне какого-нибудь места!

— Как места? Да разве ты не у баронши?

— Какая тут баронша!—Она умерла с голоду!

Где ее похоронили? Есть ли над нею какой-нибудь памятник? Помнит ли ее кто-нибудь из родных и знакомых?— Не знаю! Но мне ее не забыть! Я не могу ей соорудить памятника; но пусть же хоть эта одна слеза благодарности канет на ее одинокую могилу! Вечная память незабвенной и несчастной баронессе Розенкампф, урожденной Баламберг!

Бегство из Цюриха.

В страницах этого рассказа,
Любезный друг, узнаешь ты
Соединенные черты
И Дон-Кихота и Жилблаза.

Terra marique profugus.

Verg. [1]

Однажды ввечеру, в начале мая 1838 года, я сидел в кофейне Баура, бывшей тогда притоном всех политических беглецов. Подходит ко мне итальянский выходец:

„Слышали Вы новость?“

— Какую?

„А вот, что случилось с бедным Краузе“.

— Как? что такое?

„А то, что его посадили в тюрьму“.

— Помилуйте, да за что же?

---

[1] Скиталец по суше и морю (Вергилий).

„Как за что? за долги. Разве Вы не знаете, что когда дело коснется денег, Цюрихцы шутить не любят. Они ужасно как жестокосерды“.

Тут нечего было долго размышлять. На другой же день я заложил у Жида [1] славный петербургский плащ,—он дал мне 12 франков. Дня за два перед тем у меня была сцена с хозяйкою. Рано по утру она вошла в мою комнату с раздраженным видом. „Ну что же это значит, Monsieur Фуссгэнгер? Вы целый день сидите в кофейне с итальянскими графами да банкирскими сыновьями, вовсе не по вашему состоянию, а мне за квартиру не платите!“

Я побледнел, как полотно: в первый раз в жизни мне говорили подобные речи. Я сказал ей отрывисто, чтоб она оставила меня в покое с своими замечаниями, а если уже на то пошло, то лучше уже прямо послать за полициею.

Промаялся еще день или два, истратил часть денег, вырученных у Жида, и наконец решился. Я написал отчаянное, романтическое, лживое письмо, от которого теперь еще краснею, и оставил его на столе с прочими бумагами. Рано по утру, было прекрасное майское утро, я вышел прогуляться по большой дороге в Базель. На мне был щегольской сюртук, жилет и панталоны совершенно новые, только с иголочки (разумеется в долг). Я был совершенно на-легке, вовсе не по дорожному, а так просто фланирующий господин.

Базель, знаете, окружен стеною, и уж там не знаю сколько ворот. Миновав главные ворота, я вышел боковыми, небрежно размахивая носовым платком. Но мошенник полицейский тотчас подметил, что тут что-то не спроста, спросил пашпорт и повел меня в полицейское бюро. Я немножко струхнул. У меня был старый русский пашпорт, да сверх того feuille de route [2], данный мне французским посланником для прохода чрез Францию в Бельгию. Но все это было давно просрочено. Я думал: что как они спохватятся, да пожалуй еще пошлют в Цюрих собрать справки? Ведь плохо будет. Старший чиновник, глядя на меня, сказал в полголоса своему товарищу: „Этот господин как-то слишком торопится перебраться во Францию“. Но я принял самый хладнокровный и равнодушный вид, как будто ни в чем не бывало. Все благополучно сошло с рук: пашпорт мой подписали, и я тотчас же выбрался из Базеля. Чрез несколько шагов вот и Франция. Вот и жандарм в треуголке гуляет по дороге! Вот она, обетованная земля, таинственный предел мечтаний и

---

[1] Вплоть до середины 50-х г.г. это слово не носило презрительно-бранного характера и употреблялось в прогрессивной печати. Лишь впоследствии оно приобрело антисемитский характер и стало употребляться исключительно в реакционных и контр-революционных, а также в малосознательных кругах населения.

[2] Дорожное свидетельство.

надежд моего детства и моей юности! Я едва-едва не облобызал этой, тогда священной для меня почвы.

Пограничное Сор-Луи прекрошечное местечко: едва ли там насчитается более десяти домов. Я приютился в крошечной гостинице, но не сел за общий стол ужинать, опасаясь за свой карман, а только приказал дать себе чашку кофе. По утру я отправился к мэру, который принял меня очень учтиво, расспрашивал о России, где у него какая-то родственница была гувернанткою,—подписал мой пашпорт и за это потребовал два франка. Мне стыдно было признаться в бедности,—вот так я ему и отдал последние два франка.

Теперь я свободен и легок, как птица: ни копейки в кармане, ни облачка заботы на сердце! Ведь я во Франции! Будущее мне принадлежит, путеводная звезда сияет предо мною! Я не хуже Цезаря имею право веровать в свою фортуну. Итак, вперед! En avant! marchons! [1] Солнце ярко блистало на голубом небосклоне, птички пели в кустах, воздух был наполнен майскими благоуханиями. Вот истинная поэзия жизни! Наслаждаться природою, когда есть деньги в кармане—это просто грубая проза! Тут вдруг представилось мне новое неожиданное зрелище: большой крестный ход, священник с причтом под балдахином, церковное песнопение, запах ладана и толпа народа. С ироническою улыбкою я слегка приподнял шляпу и прошел мимо. Главною целью моего пути в этот день был—Алткирх, грязный городишко полу-французский, полу-немецкий и весь наполненный Жидами. От этих-то сынов Израиля я чаял спасения. Salus ex Judaeis est! [2]

Алткирх.

Я тотчас отыскал нечто в роде толкучего рынка, то-есть ряд полутемных лавок, где продавался всякий хлам, а особенно старое платье, и немедленно вступил в переговоры с Жидом. Я отдаю ему все, что на мне есть: сюртук, жилет и панталоны, а он должен мне дать белую блузу, с жилетом и панталонами того же материала и придать деньгами, сообразно с качеством и свежестью моей одежды. Злодей! Варвар! Он дал всего 8 франков! Тут некогда было долго торговаться; был третий или четвертый час по-полудни, а я еще ничего не ел.

Вот так я и нарядился в белую блузу (надобно заметить, что во Франции белая блуза нечто distingué [3]; очень порядочные люди в ней путешествуют; но зато синяя блуза исключительно принадлежит рабочему классу) и с осьмью франками в кармане, с веселою беззаботностью отправился в кофейню выпить un petit verre [4] и закурить сигарку,—потом

[1] Вперед! идем!
[2] Спасение—из Иудеи!
[3] Приличное.
[4] Рюмочку.

хорошенько пообедал и, не дожидаясь захождения солнца, прямо бухнул в постель. Здесь я помещу все путевые анекдоты между **Алткирхом** и **Нанси**.

В то самое утро, когда я вышел из Алткирха, я остановился позавтракать café au lait [1] в деревушке Germagny. Служанка принесла сдачи медные деньги; я все их великодушно отдал ей. Она так и выпучила глаза и, вероятно, приняла меня за какого-нибудь эксцентричного англичанина. И действительно, скоро после этого, иду по большой дороге; крестьянин, работавший на поле, приподнял голову и, взглянувши на меня, воскликнул: „Sont ils drôles ces anglais!“ [2] Так видно уже мне на роду написано быть англичанином. Суженого конем не объедешь.

Где-то недалеко от **Бефора** (Béfort) около полудня я зашел в маленький кабачек отдохнуть и выпить стакан вина. Хозяин, простой мужик в синем балахоне и деревянных башмаках, тотчас вступил со мною в разговор. Ему ужасно хотелось узнать весь мой формулярный список: кто я, откуда, и что, и как, особенно какого ремесла человек. Краткости ради, я отвечал: „Je suis un homme de lettres“ [3]. Хозяин тотчас встал, поклонился мне в пояс и с каким-то благоговейным восхищением беспрестанно повторял: „Ah! monsieur est un homme de lettres! Ah! monsieur est un homme de lettres!“ [4] Заметьте эту характеристическую черту Франции: ни в какой другой стране не отдают такой почести литературному ремеслу.

Между **Эпиналем** и **Нанси** застал меня дождь на большой дороге, я поспешил укрыться под маленьким деревцом, стоявшим среди поля. Тут же подбежал и молодой крестьянин (это было в Лорре́не). „Ну, уж дождь!“ сказал я: „тут весь промокнешь до костей, да и какое же дрянное дерево, что и от дождя-то защитить не может!“ Молодой человек так и вспыхнул и с негодованием сказал: „Ну да у вас-то деревья разве лучше здешних?“ (Et les arbres de votre pays sont ils meilleurs que ça?) Неоцененная черта французского патриотизма.

Нанси.

Я пришел в Нанси в самый разгар большой годовой ярмарки. Везде толпа народа в праздничном наряде. Гремела полковая музыка, играли шарманки, бандуры, арфы; фокусники и шарлатаны выкидывали разныя штуки. Нет ничего ужаснее, безнравственнее, как быть без приюта в большом городе, шляться без цели по улицам, чувствовать голод и

---

[1] Кофе с молоком
[2] Ну и смешны же эти англичане!
[3] Я—литератор.
[4] О! вы—литератор! О! вы—литератор!

видеть пред собою зрелища довольства и роскоши. Чтобы укрыться от дождя, я стал у большого подъезда губернаторского дворца. У префекта в этот день был какой-то большой прием: беспрестанно подъезжали кареты, из них выходили одна за другою прелестные дамы, разряженные впух, господа в мундирах или черных фраках с ленточкою почетного легиона, в шелковых чулках и башмаках... Каждый из них, или какой-нибудь их лакей, имел право сказать мне: „Что ты тут стоишь, бродяга?" А тут еще подошел слепой с шарманкою и жалобным голосом начал оплакивать несчастия великого Наполеона, измену его генералов—

Si Raguse eût aimé la France
Comme Montholon, Bertrand, Montmorancy,
Contre toutes les puissances } bis. [1]
Napoléon serait encore ici

Какая-то глупая траги-комическая мысль о геройских бедствиях вошла мне в голову; слезы выступили на глазах; я ужасно как упал духом. Чувствовал себя покинутым, забытым, без друзей и без приюта; в голове был какой-то лихорадочный бред, я не умел связать двух мыслей, и припомнил стих Хомякова:

И сынов твоих покинет
Мысли светлой благодать!

А между тем на груди моей покоилось сокровище, письмо Г. С.......ва [2], дававшее мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Но даже и в эту страшную пору испытания, ни на одну минуту, ни на одну секунду я не имел поползновения воспользоваться этим документом. Что ж это такое? Непреклонная ли воля? или неизбежная судьба? Как хотите; но вот этак-то я видел и испытал все стороны жизни.

Бродя по улицам, я отыскал агента, доставлявшего места служанкам, учителям и проч. Он очень хорошо меня принял и, увидев из моего пашпорта, что я был профессором, он тотчас повел меня к директору какого-то пансиона. Этот добрый человек тут же сунул мне в руку 3 франка (огромную для меня сумму!). Со слезами благодарности я сказал: „Ah! monsieur! ce n'est qu'en France qu'on trouve des gens si charitables!"—„Ne dites pas cela, mon enfant, il y a de braves gens partout" [3]. Он также дал мне платье из своего гардероба; но к несчастию оно было слишком объемисто для меня,

---

[1] Если бы герцог Рагузский так же любил Францию, как Монтолон, Бертран, Монморанси,—несмотря на все сопротивление держав, Наполеон был бы здесь.

[2] Гр. С. Г. Строганова.

[3] „Ах, сударь, только во Франции люди так добры!"—„Не говорите так, сын мой, всюду есть хорошие люди!"

так что я должен был променять его на другое, которому суждено было играть важную роль в последующих событиях. Но вакантного места у него вовсе не было. Что ж тут делать? Вот еще день пропал! А ведь надобно же жить как-нибудь! Нельзя же приостановить течение жизни, пока найдется место.

„Ну, уж вы не беспокойтесь!" сказал мне агент; „у меня есть место для вас, но только не здесь, а в Меце. В пансион аббата Бюро требуется преподаватель греческого и латинского языков. Я тотчас же к нему напишу. Вам не противно быть у священника?"

— Нимало; мне совершенно все равно.

„Ну, так очень хорошо, приходите ко мне завтра поутру, а от меня вы отправитесь в Мец".

Путешествие в Мец и следующие за тем события.

Что слава? яркая заплата
На ветхом рубище певца.

Пушкин.

В восьмом часу утра мой агент попотчивал меня чашкою café au lait с французским калачом, называемым pistolet, и с этим легким завтраком на желудке мне надлежало маршировать 10 льё, то-есть 40 верст, без копейки в кармане. Сначала все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная. Ландшафт беспрестанно изменялся по берегам извилистой Мозели; мелькали деревушки, дачи. Вот белый домик с зелеными ставнями: он как-то скромно приютился в тополевой рощице; из окон несутся звуки фортепьяно. Воображение рисует милую женщину, счастливую семью и напоминает мне малороссийскую песню:

У сосида хата била,
У сосида жинка мила,
А у мене ни хатинки,
Нема счастья, нема жинки!

Но к вечеру все как-то опрозаилось. Я начал чувствовать усталость и голод... Вижу прекрасный господский дом (château), барин с барынею гуляют на самой закраине дороги. „Ну что же?" думал я, „дай подойду, поклонюсь, скажу..." Нет, невозможно! Есть нравственные невозможности! Несмотря на голод и усталость, у меня не стало духу просить милостыню.

Солнце садилось, когда я увидел пред собою серые башни Понт-а-Муссона с их долгими черными шпицами.

Ночь настает, а до Меца еще далеко! Нечего было и думать искать ночлега в городе. „Там, где-нибудь за городом, в какой-нибудь деревушке, в какой-нибудь лачужке может быть найду приют“.

В сумерки я подошел к мызе какого-то зажиточного фермера. Тут стояли огромные стога сена. Я присел на скамеечке у ворот. „Авось здесь удастся отдохнуть“. Но тут вдруг залаяла огромная собака, и сам хозяин явился вслед за возом соломы. Наружность его мне не понравилась. „Нет! пойдем дальше!“ Стало совершенно темно. Вот деревушка плетется длинною улицею под гору. Везде мрак и тишина, только на другом конце, в самом последнем домишке по левую сторону теплился огонек. Поровнявшись с этим домиком, я остановился: „Ну, что ж тут делать? Если я пойду дальше, то мне придется ночевать на поле“. Я тихонько постучался у двери. Женщина отперла... „Что вам угодно?“

— Позвольте мне, Мадам, присесть немножко отдохнуть.

„Извольте, садитесь“.

— Дайте мне пожалуйста стакан воды, я ужасно как устал.

„Ах Боже мой! Да как же это стакан воды! Ведь для молодого человека надо бы чего-нибудь покрепче“.

— Что ж делать, ma bonne femme [1], у меня нет ни копейки денег.

Она принесла стакан воды и поставила передо мною. Молчание. Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал:—Je suis un pauvre réfugié polonais! [2]

„Ах! ты господи боже мой! какой же у вас король-то такой суровый, что он вас этак по миру пускает“.

— Hélas! [3]

После нескольких минут молчания—„Однако ж“, сказала она: „ведь уж становится поздно, мне надобно дверь запереть, да и вам же нельзя тут оставаться всю ночь“.

Пришла критическая минута, надобно было решиться.

„Послушай-ка, голубушка; подойди пожалуйста, да посмотри на мои панталоны, они совершенно новые, клетчатые; может быть они пригодятся твоему мужу; а ты мне, знаешь, дашь какие-нибудь его старые изношенные,—понимаешь?“ Хозяйка взяла свечку, подошла, стала на колени передо мною, тщательно осмотрела и ощупала мои панталоны. „Ну, так, очень хорошо! Вот я вам за это дам ночлег и ужин!“ Торг заключен. Она тотчас же притащила огромнейший сыр, целый хлеб и целую бутылку вина. Чего же тут больше желать? Это просто крезовский, сарданапаловский

---

[1] Добрая женщина.
[2] Я—бедный польский эмигрант!
[3] Увы!

пир! Ешь не хочу. Я наелся и напился до сыта и, без малейшей думы о завтрем, лег на мягкую постель и заснул тихим блаженным сном, какого ни Наполеон III, ни граф фон-Бисмарк никогда не вкушали. Проснувшись поутру, гляжу, панталоны мои исчезли, а на месте их лежали на стуле какие-то тряпки, но я не мог их хорошенько рассмотреть в полусвете комнаты. Лишь только вышел на улицу, как посмотрел на себя, да так и обомлел от ужаса: ведь эти штаны были просто составлены из разноцветных тряпок,—заплатка на заплатке... Что ж тут делать? Как же показаться в люди в этом арлекинском наряде? Тут едва не покинула меня вся моя стоическая философия. Ну что ж? Была не была—le vin est tiré, il faut le boire! [1].

Тут я предложу вопрос, или задачу на разрешение: где требуется более мужества: идти ли на приступ к неприятельской крепости, или пройтись по большой дороге в черном изношенном фраке с панталонами из разноцветных заплаток? Вооружась этим второго разряда мужеством и скрепя сердце, я поплелся по дороге в Мец, и через два часа был уже у городских ворот. Мец, как известно, важная крепость. Тут была гаупвахта; стоял офицер с несколькими солдатами под ружьем. Они ни слова мне не сказали, а только смотрели на меня очень пристально. К вечной чести французского воина я должен записать здесь выражение их глаз. Что ж такое выражалось в глазах офицера и солдат? Благороднейшая, чистейшая христианская любовь, нежнейшее сострадание,—нет, скажу больше: благоговение пред несчастием. Этих взглядов я никогда не забуду.

Я тотчас же отыскал пансион аббата Бюро и сказал привратнику, что я де тот réfugié russe [2], о котором ему писали из Нанси. Аббат выбежал мне навстречу: „Ах, боже мой! да зачем же вы себя назвали réfugié [3], ведь это здесь вовсе не рекомендация. Садитесь, садитесь! Вы греческого исповедания? Ну да это все одно и то же с нами! Это просто политическое разделение церквей. Вы можете преподавать греческий и латинский языки? Очень хорошо. Теперь только старайтесь приютиться где-нибудь, да принарядитесь немножко (указывая на мою бороду и намекая на панталоны). Вот вам маленькое пособие (15 франков) и приходите ко мне ровно чрез неделю. А между тем никому ни слова, что вы были у меня“.

Первым делом было купить более приличные панталоны. Выхожу из лавки, гляжу, вот вывеска,—на доске мелом: Logement et nourriture — six sous par jour [4]. Это было для

---

[1] „Бутылка открыта, надо ее допиватъ“—французская пословица.
[2] Русский эмигрант.
[3] Эмигрантом.
[4] Помещение и пропитание—шесть су в день. Су—около 2 коп.

рабочих. Вот этого мне и надо! Теперь мой идеал осуществился. Доселе я был теоретическим республиканцем, á priori разглагольствовавшим о нуждах рабочего класса, теперь я буду жить между работниками их собственною жизнию! Лишь только вошел я в комнату, хозяйка, с удивительным женским тактом, взяла меня за руку и посадила на почетном месте у камина, сказав прочим гостям: „Faites place! je vois, que c'est un enfant de bonne maison!“ [1].

Нет ничего любезнее французского ремесленника: удивительная гибкость языка, отличные манеры, утонченная вежливость. Мне пришлось спать в одной постели с каменщиком, а напротив нас спал прекрасный мальчик, не помню какого ремесла. Вот мы трое почти всю ночь протолковали оо устройстве будущей республики, о распределении работ, при чем мальчик заметил: „Nous travaillerons chacun á notre métier et vous, Monsieur, vous nous instruirez et nous aiderez de vos bons conseils“ [2]. Это комплимент мне как грамотею, homme de lettres. Но все это была реторика, милая болтовня, а практического смысла, какой например у англичан, у них ни капли не было. Тут также можно было видеть различие народностей. Между ними был рабочий немец, очень красивый парень; но он все как-то глядел из подлобья и вовсе не мешался в наши разговоры. Он чрезвычайно занят был своим я (Das Ich). Обыкновенно он сидел в уголку и, держа зеркальце в одной руке, другою беспрестанно поправлял свои темнорусые кудри.

Наконец у меня спросили пашпорт и мне пришлось итти в полицейское бюро. Сколько я ни умолял их, они никак не хотели позволить мне остаться в Меце. „Вот ваш маршрут, feuille de route,—ведь вам предписано идти через Лонгви в Бельгию, ну так и ступайте! А то пожалуй, если вы останетесь здесь, вы будете просить вспоможения у правительства“. Я давал им честное слово, что ни в каком случае ни копейки от правительства требовать не буду. „Ну да уж это мы знаем! Извольте-ка отправляться. А если вы заупрямитесь, так мы пожалуй вас и с жандармами отправим заграницу“.

Точь-в-точь как у нас, на святой Руси, подумал я, и снова отправился в путь. Звезда моя вела меня в Бельгию.

---

[1] Дайте место! я вижу, что он из хорошей семьи.

[2] Мы будем работать каждый в своей отрасли, а вы, сударь, будете нас учить и помогать своими советами.

Несколько дней до пребывания в Цюрихе.

Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

Пушкин.

Как подобает благочестивому республиканцу, первым делом моим было итти на поклонение святым местам в Лагранж. Что такое Лагранж или Гранж?—Небольшая гостиница или пансион в самой глухой и незначительной части Швейцарии, куда едва ли кто заезжает.—Ну так что ж тут любопытного?—Как что? Какой вопрос! Вот что значит не иметь живой веры! Знайте ж, маловеры, что Лагранж или Гранж это—скиток преподобного иже во святых отца нашего Джузеппе Маццини, где он спасался и укрывался несколько месяцев от преследований французской полиции [1]. Об этом Лагранже я читал еще в Москве, в гамбургских газетах, в швейцарской кондитерской, что близ университета, и как тогда уже душа рвалась к этой святыне! И эту святыню я осмотрел с благоговейным вниманием: сначала все окрестности и потом весь дом от чердака до погреба. В общей зале были развешены портреты итальянских патриотов и рисунок идеального памятника падшим героям с знаменитым изречением: Non vincerete in un giorno! [2] В простоте сердца и с детским любопытством я расспрашивал у хозяина и прислуги обо всем, касающемся Маццини.

На следующий день прихожу на ночлег в другое местечко, развертываю свежую газету и читаю:

„Вчера ночевал в Лагранже молодой французский шпион, un émissaire du gouvernement de Louis Philippe [3], и тщательно собирал подробные сведения о пребывании там г. Маццини. Avis aux républicains!“ [4]

---

[1] Маццини (1805—1872)—виднейший идеолог и практический руководитель революционного крыла буржуазного национально-освободительного движения в Италии XIX века; с начала 30-х годов Мадзини выступил, как организатор революционно-республиканского заговорщицкого движения сначала в Италии, а затем, очутившись в эмиграции, распространил свою деятельность и на другие страны Европы, пытаясь связать в единую организацию („Молодая Европа“) национальные революционные организации буржуазной молодежи в других европейских странах. В 30-х гг., к которым относится рассказ Печерина, Маццини и в глазах своих сторонников, и в глазах противников-реакционных европейских правительств был воплощением революции В революционную эпоху 1848—1849 г. Мадзини стоял во главе Римской республики, а после ее поражения вновь оказался в эмиграции, в которой оставался до конца жизни, неустанно продолжая свою деятельность, направленную к освобождению и объединению Италии на республиканских началах.

[2] Вы победите, но не в один день.

[3] Эмиссар правительства Луи-Филиппа.

[4] К сведению республиканцев!

Вот тебе и по делом! Не суйся, куда не просят! Не спросившись броду, не пускайся в воду. Куда конь с копытом, туда и рак с клешнею... Приветствую тебя, возлюбленная тень Дон-Кихота Ламанчского! Мир праху твоему, рыцарь печального образа! С самого детства я любил тебя. Читая твои подвиги в переводе Жуковского, я никогда не смеялся над тобою; нет! я все принимал за чистые деньги, и об одном только думал: как бы и мне сделаться странствующим рыцарем и бродить по свету, поправляя все неправды! И вот идеал осуществился и я пошел по твоим следам. Сколько ветреных мельниц я принял за исполинов! Сколько дульциней я обожал как идеальных принцесс! Теперь понятно, для чего я поселился в Лугано. Лугано был фокусом революции, сборным местом маццинистов. Кто не знает Лугано с его черным амфитеатром, и что его нижние слои покрыты роскошным каштановым лесом, а вершины увенчаны альпийскими снегами? Кто не помнит этого волшебно-зеркального озера, замкнутого отвесными скалами и высокою горою Сан-Сальвадоре, где на вершине стоит часовня с могилою польского изгнанника!? Природа очаровательная, но люди никуда не годятся: они ни то швейцарцы, ни то итальянцы. Добрых качеств этих двух народов они не имеют; но счастливо соединяют в себе все их пороки: швейцарское пьянство с итальянскою ленью, коварством и мстительностью. Одни люди, достойные внимания в Лугано, были—итальянские выходцы из северной Италии, люди хороших фамилий и отличного воспитания. Они составляли élite [1] тамошнего общества. Я особенно сблизился с молодым человеком задумчивой и грустной наружности. Мы часто вместе гуляли по берегу озера, беседуя о политике, о литературе, а иногда и о *сумрачной* России,

> Где я страдал, где я любил,
> Где счастье я похоронил.

Он рассказывал мне, как часто мать его умоляла не мешаться в политические дела: „Guarda ti figlio! Ti ammazzaranno“ [2]. Если не ошибаюсь, это тот самый *Гриллендзони*, что впоследствии сидел в парламенте недолговечной римской республики [3]. Он сослужил мне службу в черный день.

В этих маленьких швейцарских республиках с государственными людьми всякий за панибрата. Их встречаешь каждый день в трактире или в кофейне. В *Беллинцоне* я обедал за общим столом с целым Государственным Советом.

---

[1] Избранная часть.

[2] Берегись, сын! Тебя убьют.

[3] *Grillenzoni* Giovanni (1796—1868) — итальянский революционер, карбонарий, был присужден к смертной казни и эмигрировал в Швейцарию; вернулся в 1848 г. и был членом Учредительного собрания в Риме, после поражения революции вновь эмигрировал, писал по вопросам итальянского национально-освободительного движения; после объединения Италии был депутатом парламента.

Они, казалось, не слишком блистали умом, а были просто добродушные мещане. Таково по крайней мере было мнение моего попутчика, известного итальянца Руджиери, хорошо их знавшего.—В Лугано я каждый день обедал в трактире с президентом Республики, полковником Лувини. Заметив в глазах моих тоску одиночества, он очень ласково пригласил меня в их казино или клуб, где впрочем ничего особенного не было, кроме бильярда, газет и нескольких карбонариев. Этот Лувини был большой музыкант, и когда приехала оперная труппа в ноябре, то он каждый вечер председательствовал в оркестре за контрабасом. Это ему припомнили в 1846 году, когда у него душа ушла в пятки, т.-е. когда он с своим отрядом пустился в бегство с вершины Сен-Готарда. „А! Синьор Лувини!"—кричали ему люди Зондербунда, [1]—„это не то, что играть на контрабасе: questa è la gran musica del canone!" [2].

Когда мой кошелек истощился, я принужден был заложить мои часы; я открыл свое положение г. Грилленцони, и он тотчас же собрал для меня подписку между своими товарищами и меня отправили в Цюрих, где была возможность давать уроки.

Благо есть место, я припомню здесь кое-что о Цюрихе. В мае 1837 г. готовилось гулянье по озеру из Цюриха в Рапперсвиль. Пароход, изукрашенный разноцветными флагами, стоял в пристани и ожидал гостей. Тут толпились туристы разных наций и итальянские выходцы. Дам было немного. Какой-то рыжий француз играл роль глубокого последователя системы Галля и щупал все черепы, особенно итальянские. Вдруг входит на пароход долговязый, смуглый мужчина с ужасно багровым носом и очень замечательною физиономиею. „Скажите пожалуйста", — сказал я графу Угони [3],—„что это за личность? Ведь вы здесь всех знаете". „Помилуйте, как же его не знать? Это министр финансов здешнего кантона. Он вечно пьян. Об нем рассказывают презабавные штуки. Однажды он пропил почти всю государственную казну. Оказался ужасный дефицит. Не знали, как и сладить с бюджетом на следующий год".

Мне кажется, это поучительный анекдот для государственных людей, ежели ты с ними знаком.

---

[1] Зондербунд — особый союз, организованный реакционными, находившимися под влиянием иезуитов кантонами Швейцарии для борьбы с властью швейцарского федерального правительства, оказавшегося в руках буржуазных радикалов. Столкновение между радикальными и реакционными кантонами привело в ноябре 1847 г. к войне, которая быстро закончилась полным разгромом вооруженных сил Зондербунда, а вслед затем и изгнанием его руководителей-иезуитов из Швейцарии.

[2] Это—великая музыка пушек.

[3] Повидимому, Филипп Угони, друг Маццини, организовавший его отъезд из Швейцарии после декрета правительства, изгонявшего его из этой страны. О нем же говорится на стр. 66.

Путешествие из Меца в Льеж

(по нашему Литтих).

Итак я оставил знаменитый Мец — теперь вдвойне прославленный и моим там пребыванием, и теперешнею осадою. Не знаю, сколько у меня денег оставалось от подаяния почтенного аббата Бюро. Было может быть два франка или больше—не знаю. Помню только, что мне достало поужинать и переночевать в первой деревушке за бельгийскою границею. На следующее утро я пришел в пограничный городок Арлон (Arlon). Никто мне ни слова не сказал. Я прямо отправился в цирюльню выбриться (pour me rajeunir un peu, как говорят французы) и потом перехватил кое-что, и спокойно направлялся в путь, как вдруг у самой заставы, как будто из-под земли выскочили два огромные жандарма с ужасными медвежьими шапками, спросили пашпорт, взглянули и тотчас схватили меня под руки и повели по той же улице, где я прошел несколько минут перед тем. Мирные арлонские граждане высунулись из окон, выбежали за двери и вероятно спрашивали самих себя: какого это государственного преступника ведут? Жандармы привели меня на гауптвахту и оставили там, а сами отправились донести начальству. Небрежно развалившись на скамье, лежал молодой солдат. Он тотчас завел разговор со мною. „Да за что же это вас посадили сюда? Разве вы беглый солдат, dèserteur?“—Я вовсе не солдат и не дезертёр, и никак не могу понять, за что они меня арестовали.—Через несколько минут жандармы возвратились и тем же порядком повели меня к королевскому прокурору. Monsieur le Procureur du roi взял мой пашпорт, посмотрел, улыбнулся и сказал: „Que voulez-vous? Ведь наши жандармы дураки, они ничего не понимают: они вас арестовали за то, что у вас нет визы бельгийского посланника. Тьфу, какой вздор!“—Однако ж что с ними делать?—„Для избежания неприятностей, я бы вам советовал взять здешний пашпорт. Вот я вижу, что за ваш feuille de route вы заплатили 2 франка: на этих же условиях мы вам выдадим свежий пашпорт“. Я молчаливо отклонил его предложение; опять мне стыдно было признаться, что у меня ни копейки за душою. Даже теперь досадую на себя, что не объявил о своей бедности: я уверен, что мне выдали бы пашпорт безденежно, и сверх того дали бы еще вспоможение, а может быть и постоянное занятие в этом местечке. Бельгийские франмасоны очень человеколюбивы. Еще в Нанси мне говорили: „Ах боже мой! да зачем же вы не франмасон. Ведь все поляки франмасоны. Вы бы скорее могли получить пособие“.—Мне очень странным казалось это предложение в моих обстоятельствах. Ни за что на свете я не согласился бы из корыстных видов вступить в тайное общество, которого притязания на глубокую

древность и таинственные обряды всегда казались мне смешными. В 19-м столетии, где все исследовано, все открыто, все на-голо—к чему все эти таинства? и какая в них нужда? Мне кажется, это значит просто, что мы никак не можем отвязаться от средневековых понятий.

Королевский прокурор отпустил меня с миром, а жандармы удалились поджавши хвост.—Но этих жандармов я никак забыть не мог. Даже теперь трепещу при одной мысли об них. Проживши целый год в Льеже, когда мне случалось встречать их на улице, я тотчас смущался, краснел, как будто была какая вина за мною, думал: вот как схватят!

Погода переменилась, пошел проливной дождь. Передо мною расстилалась беспредельная однообразно-плоская равнина—точно в России. У дороги стоял кабачек, содержимый отставным солдатом: он же заведывал и поправками на шоссе. Надобно было опять пуститься на спекуляцию. Я продал ему свой фрак и панталоны, а он мне в замену синюю блузу (я упал одним градусом ниже) и соответствующие штаны, да прибавил деньгами три или четыре франка. Да сверх того этот добрый человек (да наградит его бог!) дал мне на дорогу кусок хлеба с маслом. А дождь все идет. Промокнувши до костей, я пришел на ночлег в порядочную гостиницу. К счастию тут рделась раскаленная железная печка где приготовлялся ужин. От нее так и пышило жаром. Славно меня осушила и обогрела! У печки сидел кружок рабочих, большею частию немцев. Думая, что я не понимаю их языка, они сделали меня предметом своего разговора. „Ну скажи-ка, брат, что ты думаешь: что это за человек?“ —Ну что ж. Верно он какой-нибудь рабочий!—„Какой тут рабочий! Посмотри-ка на его руки! руки-то у него вовсе не рабочие!“—Ну так он должен быть чей-нибудь лакей!—сказал третий, и все, казалось, остались довольными этим разрешением задачи. После ужина мне отвели постель на чердаке под окном, без стекол, притворенным деревянною ставнею, через которую дул ветер и бил дождь, а на мне, заметь, едва просохлая рубашка. Вот что значит энергия, живучесть молодости! Я, наверное, теперь схватил бы горячку после этакого ночлега, а тогда все это сошло, как с гуся вода. По утру я проснулся свеж, как роза и gai comme un pinson[1], и снова пустился как исполин тещи путь.

В Бастоне случилась со мною странная встреча. Вижу—идет молодой человек в белой блузе.

Познакомиться не долго
Пешеходцам меж собой!

(Это пели в старые годы на Большом театре в водевиле Ломоносов или Рекрут-стихотворец, имевшем на

[1] Весел, как зяблик.

меня огромное влияние [1]. Белая блуза очень учтиво спросила меня, куда я иду. Я отвечал, что иду через Намюр в Брюссель. Да! действительно я шел в Брюссель: там жил знаменитый Лелевель [2]: я воображал, что он там профессором, занимает важное место, я хотел прибегнуть к его покровительству, а после узнал, что он жил в крайней бедности: питаясь одним хлебом и сыром.—„Помилуйте", сказала белая блуза: „да зачем же вы делаете такой ужасный круг? Ведь вам прямая дорога через Льеж; отсюда до Льежа только десять льё, а оттуда вы возьмете железную дорогу и в каких-нибудь 5 часов будете в Брюсселе".—Ну, уж что касается до железной дороги, думал я, то это не по нашему карману; а все ж таки лучше идти в Льеж — оно гораздо ближе, да и тоже значительный городок.—Клянусь богом, что я никогда не думал о Льеже, даже на карте его не замечал, и в голову он мне не приходил и во сне не грезился, тем более, что его у нас обыкновенно называли Литтихом. Это было для меня совершенно новое открытие. Кто ж был этот молодой человек в белой блузе? Был ли он добрый или злой гений? Не знаю; но в том дело, что слова его поворотили поток моей жизни в новое русло и окончательно решили судьбу мою на веки веков. Этот таинственный посланник, совершив свою роковую миссию, учтиво со мною раскланялся и исчез!

Льеж (Liège).

Тучи разошлись, вся природа оживилась под яркими лучами полуденного солнца, в первых числах июня. Сделалась удивительная геологическая перемена декорации! После однообразной плоской равнины я вдруг неожиданно очутился на краю ужасного обрыва и передо мною расстилалась меж высоких холмов прелестная долина, орошаемая Мёзою, и вдали виднелся город Льеж.

Меня перевезли через реку за несколько сантимов и вот я уж в предместиях. Народ тут вовсе не так был учтив,

---

[1] Опера-водевиль известного в начале XIX в. драматурга кн. А. А. Шаховского (1777—1846), впервые поставленная на сцене в 1814 г.

[2] Лелевель (1786—1861)—польский политический деятель, профессор, член временного правительства, организованного в Варшаве после революции 29 ноября 1830 г.; Лелевель был в последнем представителем демократического, революционного крыла движения; после поражения восстания Лелевель эмигрировал, продолжая и в эмиграции возглавлять демократические элементы польского национального движения. В январе 1833 г. Лелевель был изгнан из Парижа. а в августе—из Франции и поселился в Брюсселе. Несмотря на ряд ошибок, допущенных Лелевелем в дни восстания, в первые годы эмиграции он считался признанным главой демократических групп польской эмиграции и пользовался громадным авторитетом в международном революционном движении того времени. Вскоре, однако, неопределенность позиции Лелевеля заставила подлинно-революционные элементы польской эмиграции отделиться от него и сорганизоваться на более последовательной демократической платформе.

как французские солдаты в Меце. Рабочие просто смеялись надо мною. „Посмотри-ка, вот идет беглый поляк! C'est un polonais!“ Почему, и как, и по каким этнологическим приметам они приняли меня за поляка—я вовсе не понимаю.

Город Льеж был в праздничном наряде: на балконах были вывешены ковры и шелковые ткани, в окнах стояли цветы и разноцветные восковые свечи. Это был Fête Dieu, Corpus Christi или как поляки говорят Boze cialo [1]. По улице шел огромный крестный ход с духовою музыкою и пением. Мне ужасно как было стыдно показать себя в лохмотьях среди этого торжества. Я свернул с большой улицы и начал разными переулками и закоулками пробираться к улице Rue de la Madeleine.

На последнем ночлеге перед Льежем я встретил жидка-разнощика, он путешествовал с женою и осликом. Мы очень приятно провели вечер в разных разговорах. Узнавши, что я иду в Льеж, он сказал: „Я вам советую остановиться в эстаминè au coq [2]: они очень добрые люди, я всегда у них останавливаюсь: поклонитесь им от меня.—Ну что ж, думал я: это очень хорошо, лучше иметь определенную цель, итти в знакомое место с какою-нибудь, хоть с жидовскою рекомендациею.

Когда я пришел в rue de la Madeleine, у меня от жару и усталости голова кружилась; я совершенно потерял память: никак не мог припомнить адреса этого трактирчика. Прошел всю улицу взад и вперед—нет! все незнакомые вывески. Что тут делать? Я начал уже отчаиваться и готов уже был завернуть в первый попавшийся кабачек. Вдруг поднимаю глаза—гляжу—вывеска, на ней изображение петуха с надписью: au coq. Слава богу! да, да! Au coq! Теперь припомнил. Вот мой любезный петушек! вот приют для утомленного странника, пристань после крушения! Вхожу — за конторкою сидела женщина средних лет довольно приятной наружности. Я отдал ей поклон от жидка, но она, казалось, не слишком высокое понятие имела о моем покровителе; не сказала ни слова и несколько минут пристально смотрела на меня, после, как бы обдумавшись, сказала: „очень хорошо, вы можете здесь остановиться“. Она была добрейшая женщина. Я после с ней был очень дружен и давал уроки ея детям. Она передо мной созналась, что сначала не доверяла мне, но всмотревшись хорошенько в черты моего лица, сказала самой себе: „я уверена, что он меня не обманет“. Вот опять женщина с непогрешимым тактом.

Есть ли здесь какой поляк профессор в Университете или в Collége [3]?“—Есть—в Gollége.—„Как его имя?“—Не знаю.—

[1] Праздник тела господня.
[2] Кофейня под вывеской петуха.
[3] Среднее учебное заведение, гимназия.

„Дайте мне пожалуйста листок бумаги написать письмо". — Вот лавочка тут напротив: там можете купить.—К счастию у меня оставался полуфранк: я купил бумаги, написал трогательное письмо с большою потратою реторики, завернул в конверт и отправился в Collége. Мне пришлось итти мимо церкви. Из нее неслись звуки органа. Вхожу—церковь битком набита. Алтарь пылал разноцветными огнями, вазы с цветами распространяли благоухание, дым ладана вился голубою струею и терялся под готическим сводом. В то время я все мерил республиканским масштабом. Что я, оборванный, небритый, нечесанный, запыленный, грязный, что я в этом нищенском образе мог войти в этот велеколепный храм, наполненный изящным людом (beau monde) и мог найти место между ними и наравне с ними имел право наслаждаться звуками очаровательной музыки, — все это в глазах моих обличало глубоко-демократический характер католической церкви. Это было первое зерно, брошенное в хорошо подготовленную почву.

А теперь позвольте по-шекспировски соединить высокую драму с комическим элементом и заметить, что впоследствии, когда я обжился в Льеже, одна хорошенькая гризетка назначала мне рандеву именно в этой самой церкви Сен-Дени. Это была моя последняя шалость. Но все ж и это доказывает, что во всех отношениях католическая церковь очень либеральна и демократична.

И вот как совершаются судьбы человеческие!

Звуки органа и гризетки! ха-ха-ха!

(Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Браво! Браво! Фора! фора!)

Льеж (Liège).

Да умный человек не может быть не плутом!

Грибоедов.

„Вот вы пишете здесь, что вы были профессором греческого языка в Москве: а ведь я очень хорошо знаю, что там профессором этого предмета — Ежовский!" — Помилуйте! —сказал я:—Ежовский принадлежит уже к древней истории: едва ли кто теперь в Москве запомнит Ежовского [1]. — Поляк помялся немножко — пробормотал что-то сквозь зубы, пошарил в кармане и дал мне два франка, за что я его сердечно поблагодарил.

---

[1] Иосиф Ежовский, поляк, воспитанник Виленского университета преподавал в Московском университете греческий язык в 1826—1827 гг.

Эта сцена происходила у двери маленького садика внутри гимназии (collège) между древними монастырскими аркадами. Полукружием стояли перед нами воспитанники в синих блузах — это был их час роздыха, а поляк был их надзирателем. Они смотрели на меня с любопытством и с некоторым участием. Впоследствии я давал некоторым из них уроки греческого языка и был, что называется репетитором при гимназии: даже шла речь о том, чтобы дать мне греческую кафедру, и оно вероятно бы состоялось, если б не назарейское[1] безумие!

Получивши два франка — последнее подаяние, я как-то приободрился, я чувствовал, что достиг крайнего рубежа моих странствований и нашел место упокоения. Пришедши домой, т.-е. к петушку (au coq), я застал хозяина в хлопотах: он заботился найти мне какое-нибудь место. В проливной дождь он отправил меня с каким-то мальчиком в славный мебельный магазин, где нужен был сиделец. Это было просто бестолково, и кончилось, как можно было ожидать: щегольски одетый хозяин, взглянувши на мою измоченную блузу и нечесанную наружность, с утонченною вежливостью отвечал, что „pour le moment[2] он в моих услугах не нуждается". — Я рассказал хозяину о своей неудаче. „Ну уж не беспокойтесь! мы вам место найдем. Savez-vous panser un cheval? Умеете ли вы ходить за лошадью?" — Ну уж признаюсь: этого-то я уж вовсе не разумею. — „А жалко! Если б вы вот этак знали как ухаживать за лошадью — я сейчас бы вас пристроил к месту". — Жена покачала головою и с видом укоризны сказала мужу: „Неужели ты в самом деле этакое место предлагаешь monsieur Louis?" Меня называли этим именем по ошибке: какой-то французский солдат Louis расписался в книге постояльцев подле меня: вот так меня и перекрестили его именем: краткости и ясности ради. — Признаюсь откровенно: у меня была сильная охота, страстное желание сделаться слугою — испытать всю свежесть этого нового положения, обещавшего много опытов, новых ощущений и бездну приключений. К несчастью, это не удалось, а всему виною хозяйка: зачем же она покачала головою? Что ж делать? подождем до поры до времени: коли мне не удалось быть конюхом, то может быть другое место в этом роде найдется!

На следующее утро я сидел за завтраком, т.-е. пил кофе без сахару (по бельгийскому обычаю) с огромною тартиною (хлеб с маслом). Гляжу — на столе лежит английская газета Weekly Despatch. „Тьфу пропасть! как же это английская газета зашла в этот подлый кабак?" — Через несколько минут входит молодой человек высокого роста в синем изно-

[1] Т.-е.—христианское.
[2] В данный момент

шенном сюртуке, плотно застегнутом, с белым галстуком, полуорлиным носом и сжатыми губами на английский манер — подходит к столу и берет газету — я тотчас заговорил с ним по английски (на сколько я тогда смекал) и просил его указать мне какое-нибудь средство давать уроки на всех возможных языках, даже по-английски! Какова прыть! Теперь, проживши 25 лет в Англии, я едва ли бы осмелился давать уроки английского языка, а тогда я на все был готов! Научит нужда калачи есть! — „Вы можете объявить о себе в газетах“, сказал он: „но я бы вам советовал прежде всего написать письмецо к Капитану Файоту (Fiott): он очень добрый человек и любит помогать бедным. Да сверх того у него для вас найдется занятие: он обыкновенно произносит речи в масонской ложе, а для этого надобно их переводить на французский язык; он сначала было поручил мне это, но я, знаете, не очень далек во французском. Вот напишите ж сейчас письмецо, а я его к нему отнесу, да пожалуйста поставьте в адресе: G. O., т.-е.Grand Orient; это ему понравится и задобрит его в вашу пользу“. — Вот я и написал просительное письмо и поставил на обертке: G. O. — Кто ж был этот молодой человек? Некто Макналли, ирландец, по словам его, племянник епископа Макналли (оно может быть было и правда; здесь почти все больше или меньше из родни духовенству) — ужасный пройдоха, плут и мошенник первой степени, как увидится впоследствии.

Между тем как мы разговаривали, вошло третье лицо — какой-то приятель Макналли, г. Камбель (Cambell), обельгившийся англичанин. Он малый был очень не глупый, отлично говорил по-французски и знаком был с французскою литературою. Но у него была странная привычка: он заходил почти в каждую питейную лавочку и там прихлебывал крошечную рюмочку чего-то, un petit verre, — вследствие чего он всегда был в очень веселом расположении духа. Услышавши о моих потребностях, он сказал: „Я бы вам советовал обратиться к madame Guyot“.

— Да кто ж это такая мадам Гюйо́? — „Это женщина известная целому городу — femme galante, s'il en fut [1] — жена инженерного полковника Гюйо́! У нее большие связи и она очень любит покровительствовать талантам, польским выходцам и вообще молодым людям. Хотите, я вас ей представлю?“
— С величайшим удовльствием! я на все готов! — „Ну так пойдемте же сейчас!“

Итак — без дальнейших предисловий — дверь гостиной отворилась и я, как был в синей блузе, предстал перед мадам Гюйо́! Высокая, стройная, чернобровая женщина сидела, как будто какая-нибудь царица или богиня, окруженная

[1] Если угодно, львица.

своими поклонниками (мужа не было дома). Камбель представил меня. Она взглянула на меня лучезарным взором царственной благосклонности, обыкновенно оказываемой изгнанникам, героям потерянных битв, революций и пр. Камбель изложил ей мою историю — не без некоторых украшений для большего эффекта. — „Eh bien! Monsieur Damery“ — сказала она одному из гостей: „не можете ли вы чего-нибудь сделать для этого господина? может быть в вашем бюро́ найдется для него какое-нибудь занятие? Мсьѐ Дамри, французик, литератор, журналист, положа руки на сердце, рассыпался в уверениях о своей беспредельной преданности. „Madame peut compter sur moi: je ferai tout mon possible pour servir ce monsieur![1] — „Вот видете ли“ — сказала она, обращаясь ко мне с торжествующим видом: „вот ваше дело и слажено! Voilà au moins une poire pour la soif[2].

Ну, думал я, теперь мое счастие устроено: этот г. Дамри даст мне какое-нибудь литературное занятие, да пожалуй чего доброго сделает еще сотрудником... На другой день прихожу к нему, а он меня и знать не хочет, и очень сухо отвечал, что никакого занятия для меня не имеет. Вот так и полагайтесь на слова француза! Впрочем не стоило и сердиться на этаго бедного Дамри: он сам был по уши в долгах и едва ли не попал в тюрьму, а услуги свои он предложил просто из врожденного французу хвастовства. Но мои сношения с м-м Гюйо́ этим не кончились. Через несколько времени она пригласила меня давать уроки английского языка ее детям — мальчику и девочке — за 10 франков в месяц! да и те не очень исправно платила. Но какие дети! Какое воспитание! Девочка лет 12-ти усердно посещала театр вместе с маменькою и знала наизусть весь репертуар французской драмы. Иногда она помирала со смеху, рассказывая мне какую-нибудь скабрезную интригу замужней женщины в недавно ею виденной пьесе... „Ах, боже мой!“ говорила она хихикая—„как это должно быть забавно обмануть мужа! как это уморительно!“ Так как я был у них не по части нравоучения, а просто для английского языка, то я также с нею хохотал, и наши уроки проходили очень весело. Но м-me Гюйо́ имела на меня еще дальнейшие виды. Ради бога, не воображайте себе ничего дурного! это вещь самая простая. Я не вхожу в семейные тайны, но очевидно было, что м-me Гюйо́ решилась полюбовно разойтись с мужем, уехать в Париж с детьми, а меня взять с собою быть их наставником. Замечу мимоходом, что этот инженерный полковник был ужасный добряк, истый Жорж Данден[3], именно такой муж,

[1] Можете расчитывать на меня, сударыня: я сделаю все возможное, чтобы помочь этому господину.

[2] Начало по крайней мере положено.

[3] Герой комедии Мольера „Мещанин во дворянстве“.

какого надобно было бы Гюйо. Они оба считали меня ученым человеком, и так как, по их понятиям, наилучший способ задобрить ученого мужа — накормить его порядочно, то вот они пригласили меня на ужин. Одним словом, они хотели завоевать меня теми же средствами, какими Бисмарк теперь надеется покорить Париж, т.-е. желудком. Во время ужина оба, муж и жена, истощили все свое красноречие и все возможные ласки, чтобы убедить меня ехать с детьми в Париж. Ужин был славный, нечего сказать, да у меня сверх того была смертельная охота побывать в Париже; но все ж таки я не поддался по двум весьма важным причинам: во-первых, совесть у меня была как-то нечиста касательно пашпорта и вместо страха божия у меня был ужасный страх французских жандармов; во-вторых, м-me Гюйо была не богата, а жила выше своих средств. Она просто меня эксплоатировала, хотела иметь дарового учителя, а после может быть оставила бы меня без копейки на парижской мостовой. Итак я храбро выдержал осаду и не сдался. Вот урок Базену![1]. С тех пор м-me Гюйо исчезла с моего горизонта и более на нем не являлась. — Но я слишком уже далеко забежал вперед! Назад! Назад! в Hôtel du coq, и посмотрим, что делает английский капитан Файот!

Вот так-то, любезный друг, разыгрываются вариации на тему жизни и вечно изменяется ее пестрый ландшафт! — Волны звуков и волны красок несутся одна за другой....

И эти звуки отзвучат,
И эти краски побледнеют,
Как свечка наш потухнет взгляд
И ветры нашу пыль развеют!

Апостол Коммунизма и „Conspiration de Baboeuf".

„Яко ж то тыранство! От так бедны члдвек з глоду помжрець муси!" Господин, произносивший эти слова с глубоким умилением и полупьяными слезами на глазах, сидел за столом в питейной и усердно уписывал славную закуску, запивая ее крепким английским пивом. Это был поляк Бернацкий, апостол коммунизма[2]. Он таким себя мне и рекомендовал:

---

[1] Базен—французский маршал, сдавший германским войскам город Мец во время франко-прусской войны 1870—1871 гг Данное письмо написано Печериным в 1871 г.

[2] На этой главе „записок", в частности на характеристике Бернацкого, яснее, чем на других главах, сказалось абсолютное непонимание автором коммунизма, а также и старческое раздражение против своих „увлечений молодости". Сказались здесь, возможно, и какие-то личные столкновения с Бернацким. Взгляды последнего, которые явно, утрируя, передает Печерин, повидимому, действительно отличались, как и вообще теории всей демократической части польской эмиграции 30-х г.г., полной сумбурностью и уже, конечно, не имеют ничего общего с социализмом ни с коммунизмом, но характеристика Бернацкого Печериным—явно пристрастна. Через 25 лет после того, как с

„мы на апостолув пошли!" В первый раз я встретил его — где вы думаете? — в академической зале Цюрихскаго университета, где он довольно бойко защищал диссертацию на степень доктора медицины. И эту степень он получил. Ну что ж? вы думаете, что вот он, как порядочный человек, займется делом — медицинскою практикою? — Ничего не бывало! Я доселе никак понять не могу, для чего он учился медицине? Он ровно ничего не делал, а только, как ревностный апостол, с утра до вечера шлялся по кабакам, где и проповедовал самый бешеный коммунизм.

Эта была грубая, коренастая славянская натура, без малейшего понятия о нравственных условиях общества. „Вот видите, пане Фуссгэнгер," говорил он мне: „в нашей республике будет такая роскошь и довольство, каких свет еще не видал. С утра до вечера будет открыт стол для всех граждан: ешь и пей, когда и сколько хочешь, ни за что не платя. Великолепные лавки с драгоценными товарами будут настежь открыты, как какая-нибудь всемирная выставка, бери, что хочешь, не спрашивая хозяина — да и какой же тут хозяин? ведь это все наше!" — В таком случае — осмелился я смиренно заметить — некоторые граждане должны будут сильно работать для того, чтобы доставить обществу все эти удобства. — Апостол немножко смешался: „Ну, разумеется, они принуждены будут работать, а то гильотина на что же?"

Вот вам и древнее греческое рабство! Вольные граждане пируют да беседуют о политике, а рабы на них работают! — Я сказал, что апостол немножко замялся — потому что основной догмат коммунизма был „Труд не достоин вольного человека. Всякая работа есть рабство!" В этом догмате бывали оттенки, смотря по воспитанию и общественному положению лица. — Один премилый итальянский юноша сказал мне однажды в кофейне Баура: „Некоторые из наших вдаются в крайности: они совершенно отрицают труд; нет! это не так: у каждого гражданина будет свое занятие, но, знаете, этакое легкое, неутомительное, приятное занятие, напр., играть на каком-нибудь инструменте, рисовать, читать занимательную книгу". Тут так и слышен il Signor Conte![1] Легкие салонные упраж-

---

ним встретился Печерин, в 1865 г. познакомился с Бернацким и Герцен. Бернацкий жил тогда в Каннах и был рекомендован Герцену, как лучший местный врач. Жена Герцена, Н. А. Огарева, записала в связи с этим знакомством в своих „Воспоминаниях": „Бернацкий оказался большим поклонником Герцена; он был польский эмигрант, пожилых лет; жил во Франции (следовало бы точнее сказать: в Швейцарии и во Франции *Л. К.*) с тридцатого года и не охладел в своем патриотизме, хотя жизнь его проходила более среди французов... Трудно жилось широкой славянской натуре в узкой мещанской жизни „французского буржуа". С тех пор у Герцена с Бернацким установились дружеские отношения и он неизменно лечил в семье Герцена, когда последняя оказывалась в Каннах или в близлежащей Ницце.

[1] Господин граф.

нения были в глазах его образчиком общественной деятельности!

Кто-то стучится в двери—отворяю: „А! Бернацкий! Что нового?"—А то, что у меня сегодня деньги есть: пойдем-ка прогуляться за город да выпьем стаканчик чего-нибудь!— „Очень хорошо! Я не прочь! Дайте только шляпу взять." Вот мы пошли, а разговор все о том же, т.-е. о благоустройстве будущей республики. Бернацкий не признавал никакой власти и никакого повиновения; об них он и слышать не хотел. „Однако ж,"—сказал я: „вот, напр., у нас общее поле: его надо обработать: ведь надо же, чтоб кто-нибудь дал приказ идти на работу".—Какой тут приказ! Мы вот этак скажем: эх братцы! дайте-ка пойдем поработаем немножко!—„Ну да этаким образом",—отвечал я,—„вы действительно очень немного сработаете".—Ах, Боже мой! да как же вы это не понимаете или не хотите понять! Ведь наука-то у нас сделает исполинские успехи. Изобретут например какой-нибудь химический порошок. Вот так посыплешь его на землю и вдруг все родится само собою—и рожь, и пшеница, и овес, без малейшего человеческого труда!—„Однако ж, сказал я— все ж таки надобно будет работать для того, чтобы пожинать и собирать в житницы произведения земли!"—Тут он просто рассердился.—„Ну уж с вами вовсе нельзя говорить! Вы этак все идете наперекор. У вас все еще старые аристократические русские предрассудки... Ну так чорт побери все!"—Тут он в ужасном азарте засунул руку в карман, выхватил несчастных два-три франка, заготовленных для прогулки, да так и швырнул их в лужу возле дороги, да и поминай как звали! Тем и кончилась наша прогулка.

Но размолвка не долго продолжалась. Он преклонил гнев на милость и через несколько дней мы опять сидели в самом дружелюбном расположении духа, где-то за городом за кружкою пива и как будто какие благочестивые отшельники разглагольствовали о благах грядущего века. „Ах", воскликнул Бернацкий: „как это славно будет! Вот этак мы сидим—вольные граждане за общим столом. Тут разумеется все отборные роскошные яства—вино льется рекою—гремит лихая музыка, и под музыку перед нами пляшут нагие девы!"

Каков идеал! Что тут ваш Магометов рай с его гуриями! „Вот видите, например," прибавил он: „ведь монахи-то были не глупы, у них тоже был коммунизм, и они жили в полном довольстве, но в одном только они спасовали и были совершенные дурни!.."

— Да в чем же?—спросил я.—„А в том, что они женщин не пригласили в свою общину!"

— Ей богу правда!—сказал я смеясь:—уж в этом-то они решительно промаху дали!

Само собою разумеется, что мой апостол терпеть не мог аристократов. Был какой-то большой бал в Цюрихе. Вот тут вся цюрихская знать едет или лучше сказать **несется** на бал, потому что в то время не было экипажей, кроме порт-шезов (porte chaise) [1]. Бернацкий немножко под хмельком гулял со мною в толпе народа. „Ох! уж эти мне аристократы! Да поглядите-ка; **рабы** несут их на руках как будто бы детей! Какой позор!"—Тут он хватил кулаком в стекло порт-шеза и оно рассыпалось в дребезги, а сам он ускользнул в другую улицу.

Еще черта. Жил в Цюрихе ломбардский выходец граф Угони, потерпевший от австрийского правительства за то, что он завел сельские школы; он был отличный человек во всех отношениях, но к несчастию у него было состояние, он хорошо одевался и обедал в первоклассной гостинице, и за это Бернацкий его ненавидел. Стоим мы с ним однажды на мосту; Угони идет обедать в гостиницу **меча** (zum Schwert). „Посмотрите-ка, что это за человек! к чему он годен! чегодоброго можно ожидать от него! Вот этак бы ему **пулю в спину влепить!**" А все это из за того, что на нем был хороший сюртук!

Я должен признаться, что наставник мой не очень высокое понятие имел о моих революционных способностях. Вот его официальное заявление.

„Vous n'êtes pas un homme d'action. Nous vous mettrons au parlement. Vous y ferez des discours, et après, nous vous couperons la tête!" [2] Да, сударь! у них шутить не любят, гильотина будет бессменно стоять на площади: guillotine en permanence! [3].

Все это я слушал со страхом, трепетом и благоговением, ни мало не сомневаясь в истине сказанного. Это уж так роковое предопределение, думал я: иначе и быть не может. „Учителю благий!" сказал я однажды: „благоволите указать мне какую-нибудь священную книгу, где бы я мог почерпнуть здравые начала нашей святой веры?" — „Вам непременно надобно достать Conspiration de Baboeuf par Par Philippe Buonarotti [4]. Тут заключается все наше учение. Это наше евангелие.

---

[1] Носилки с сидячими местами.

[2] Вы не человек действия. Мы посадим вас в парламент. Вы будете произносить там речи, а потом мы снимем вам голову.

[3] Перманентная гильотина.

[4] „Заговор Бабефа" Филиппа Буонаротти. **Бабеф** (1760—1797) родоначальник революционного коммунизма в эпоху Великой Французской Революции, организатор так называемого „заговора равных", с программой коммунистической революции и диктатуры трудовых масс; казнен 26 мая 1797 г. Его друг и ученик **Буонаротти**, спасшийся от разгрома и долго живший в эмиграции в Брюсселе, популяризировал учение „равных" в своей „Истории заговора равных, называемом заговором Бабефа" (Брюссель, 1828 г.). Эта книга в 30-х гг. была одним из самых распространенных изложений революционно-коммунистических учений и оказала большое влияние на дальнейшее развитие социалистической мысли в Европе Сам Буонаротти до смерти продолжал активно участвовать в революционном движении, особенно обращая внимание своих последователей на пропаганду среди рабочих масс.

Ведь, правду сказать, Иисус был один из наших, он тоже хотел сделать, что и мы, но к несчастию он был бедный человек—без денег ничего не сделаешь; а тут вмешалась полиция, вот так его и повесили!“ Впрочем, не первый раз я слышал в Швейцарии подобное мнение, хотя несколько в другом виде. Один благочестивый сельский пастор, с умилением подымая глаза к небу, сказал мне: „Ja! lesus Christus war der erste Republikaner!“ [1].

Эту священную книгу Conspiration de Baboeuf невозможно было найти в Цюрихе, да сверх того у меня ни копейки за душою не было. Но теперь в Льеже, лишь только завелся у меня лишний франк, я тотчас же пошел осматривать все книжные лавки и к крайнему моему восхищению нашел ее у одного букиниста.

Денег со мною не было. „Ради бога“—сказал я хозяину: „подождите несколько минут: я сбегаю домой за деньгами: сию же минуту буду назад“. Я побежал домой, взял деньги и запыхавшись положил их на конторку, взял книгу и понес ее домой, как некий священный кивот, как ковчег нового завета.

В этом евангелии мало занимательного для о г л а ш е н н ы х. Вот сущность планов Гракха Бабефа (Gracchus Baboeuf): Париж и все большие города должны быть разрушены до основания, а вместо того Франция будет усеяна группами цветущих деревушек! Сущая идиллия!

Но теперь однако ж надобно быть справедливым. Коммунисты должны бы соорудить памятник Бисмарку: он очень ревностно содействует исполнению их планов. Не знаю, много ли ц в е т у щ и х деревень он оставит за собою, но что Париж и другие города довольно от него пострадали, в этом нет никакого сомнения [2].

Но ведь я теперь в Льеже, а где же мой наставник и духовный отец? Что с ним сталось? А вот что.—К нему присоединился новый апостол, какой-то доктор из Тюбингена. Этот доктор жил в одном доме со мною. Мне от него страшно было. Никогда я не видал подобного лица. Какая-то мрачная тень злодейства лежала на его челе. Живописец, желавший написать образ Каина или Иуды или самого Мефистофеля, не мог бы найти лучшего образца. Бернацкий как-то особенно с ним подружился. И вот эти два апостола, занявши значительную сумму у какого-то жида, в одно прекрасное утро, не спросившись хозяина, ускользнули из Цюриха и след их простыл. И вот с этими-то людьми я был знаком!

Данте очень трогательно изображает несчастное положение изгнанника. „Конечно, говорит он, грустно есть чужой

---

[1] Да! Иисус Христос был первым республиканцем!

[2] Намек на франко-прусскую войну 1870—71 гг., во время которой германские войска захватили ряд французских городов и осадили Париж. Бисмарк во время этой войны был политическим руководителем Германии.

хлеб и всходить и нисходить по чужой лестнице, но еще грустнее жить в том дурном обществе, какому неизбежно подвергается изгнанник".

Tu proverai si come sa di sale
Lo pane altrui, e come è duro calle
Lo scendere e'l salir per l'altrui scale.
E quel che più ti graverà le spalle
Sarà la compagnia malvagia e scempia,
Con la qual tu cadrai in questa valle.

Dante. Paradiso XVII. 58 [1].

Эти стихи мне часто повторял мой Луганский приятель Гилленцони, жалуясь на дурное общество в Цюрихе. А после я собственным опытом это узнал.

Сказание о Капитане Файоте и его Камердинере.

В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь.

Борис Годунов.

В лето от Р. Х. 1838 в городе Льеже в Королевстве Бельгийском жил был морской капитан английской службы— он же был на половинном жалованье — а имя ему Эдуард Файот [1]. В старые годы у него был свой собственный корабль и с ним он объехал полсвета, да и в Питере побывал, откуда и вывез приятное воспоминание о некоем квартальном, вытянувшем у него не одну синенькую... У капитана был камердинер, лихой парень 22-х лет—кровь с молоком— бельгийского происхождения — имени и отечества не помню. Капитан был Сократ; а камердинер был, положим, нечто в роде Алкивиада. Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Итак благословясь начнем.

Глава I.

О капитане и нечто о бороде.

Вашей милости известно, что я вышереченному капитану Файоту подал челобитную и приложил к ней руку с заветным знаком: G. O., что по нашему значит Великий Восток. В ответ на мое писание капитан прислал несколько

---

[1] Как горек хлеб чужой и полон зла,
Узнаешь ты, и попирать легко ли
Чужих ступени лестниц без числа!
Всего ж сильней отяготит в неволе
Тебе плеча—сброд извергов, глупцов,
С которыми падешь ты в той юдоли".

Данте Рай. Песнь XVII, стихи 58--61 (пер. Д. Мина).

листочков собственного сочинения для перевода на французский язык. Знать, он хотел прежде изведать, силен ли я во французской грамоте. Я тотчас вскарабкался на верх в мою конуру, где кроме моей кровати еще стояли две-три другие, поставил маленький столик перед постелью, достал бумаги, чернил и перо и с особенным удовольствием принялся за более сродное мне ремесло. Работа шла, как по маслу, перевод вылился полный и круглый по всем правилам французской фразеологии. Мои новые приятели Камбель и Макналли пришли меня навестить: „Ну что, как ваш перевод идет?“— Да он уж готов.—„Неужели? очень хорошо! пойдем же вниз, да выпьем по чарочке предварительно, а там вы нам прочтете“. Мы сошли вниз в питейную и выпили по чарочке предварительно; я сел на стул, а мои два Аристарха стояли передо мною. Я читал с чувством, с толком, с расстановкою, как будто перед какою-нибудь академиею наук. Камбель, знаток французского языка, воскликнул: „Прекрасно! отлично! Дайте, я сейчас же отнесу это к капитану“. Он отправился с рапортом к капитану, а капитан через него прислал мне пять франков. Не могу описать, какое это было сладостное ощущение. Это были первые деньги, заработанные моим честным трудом. Хозяин тотчас подбежал и подал мне счет. Я с ним расплатился и у меня еще осталось два франка с небольшим. После этого я вырос несколькими вершками, выпрямился, приободрился. Я чувствовал, что я уже не бродяга, не нищий, а порядочный человек, имеющий деньги в кармане и платящий свои долги! В избытке блаженства, с переполненным сердцем я пошел прогуляться и зашел на толкучий рынок в Hôtel de ville купить себе—что вы думаете? пряник? или сосульку?—нет! не угадали! я зашел купить— стереотипное издание греческого классика—помнится Ксенофонта Memorabilia Socratis,[1] т.-е. первое, что мне попалось под руку. С этою покупкою я воротился домой и бросился на постель. После двухмесячной бродяжной жизни мне хотелось освежить себя умственным занятием, отдохнуть, понежиться немножко—хоть с этим пошлым рассказом о пошлом старике Сократе. Уединение и тишина не долго продолжались! Слышу, кто-то кряхтя тяжелыми стопами всходит по лестнице. Отворяется дверь—входит солдат в полном вооружении, в кепи, в шинели, с ранцем на спине, с ружьем в руках. „Sapristi! как же я устал!“ Он тотчас сложил свои воинские доспехи и бросился на постель. Отдохнув немножно, он посмотрел на меня очень пристально—улыбнулся, кивнул и, поднося горизонтально руку ко лбу в знак приветствия, ска-

---

[1] „Воспоминания о Сократе“ греческого историка и философа Ксенофонта (V — IV в. до н. э.), являющиеся важнейшим источником сведений о жизни и учении греческого мудреца.

зал: „Bonjour, camerade!“ — Bonjour, monsieur, [1]—отвечал я.— „А ведь я сейчас угадал, что вы республиканец!“ — Как же вы это угадали? — спросил я. — „А вот по этому“—указывая на мою бороду.—В то время бороды были несомненным знаком республиканца или сен-симониста! „Ну что ж, брат! по рукам! Ведь и мы виды видали, по свету ходили да и за свободу сражались!“—Очень рад, сказал я, протягивая руку, встретиться с товарищем и собратом по республике. Ну скажите ж, где вы этак сражались за свободу?—„Да уж где мы не перебывали? Мы и в Польше были.“—Неужели? как же вы туда попали?—„Мы на кораблях туда ходили“.—Помилуйте! как же это?—в Польшу-то на корабле!—„Par dieu! мы стояли на якоре в Лиссабоне“.—А! понимаю: вы были в армии Дон Педро! [2] Очень хорошо! И так да здравствует республика и — pereat Geographia! [3]

Еще оставалось у меня несколько сантимов: на что бишь я их истратил? Погодите — а! теперь припомнил: я отправил франкированное письмо в Мец к аббату Бюро́. В этом письме я объяснил ему причины, помешавшие мне явиться к нему в назначенный день по обещанию; благодарил его за данные мне 15 франков и обещал возвратить их при первой возможности и заключил крайним сожалением о том, что мне не позволено было остаться во Франции и — „participer aux grandes destinées d‘une noble nation!“ [4] Такова была тогдашняя моя реторика! Мне и в голову не приходило, что Россия-то именно та **свежая** дорога, которой великие судьбы только что начинаются, а Франция—отжившая свой век, нарумяненная маркиза, о которой можно сказать то же, что Беранже сказал о Европе вообще:

Une vieille sur des bequilles
Qui ne croit plus à la vertu [5].

Но таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка: совершенное презрение ко всему русскому и

---

[1] Добрый день товарищ!—Добрый день, сударь!

[2] Т.-е. в армии б. бразильского императора Педро I, отрекшегося в 1831 г. от престола в Бразилии и в 1832 г. ставшего во главе восстания против своего брата, Мигуеля, короля Португалии. Опираясь на громадное недовольство, возбужденное в стране правлением последнего, и на навербованную среди эмигрантов и иноземцев армию, Педро разбил армию Мигуеля, 24 июля 1833 г. взял Лиссабон и был провозглашен королем.

[3] И да погибнет география!

[4] И принять участие в великих судьбах благородной нации.

[5] „Старуха на костылях, не верующая уже в добродетель“. **Беранже** (1780—1857)—популярнейший французский поэт—песенник, создатель политической песни - сатиры, особенно выдвинувшийся в эпоху возвращения Бурбонов, когда его стихи, беспощадно бичевавшие монархию, дворянство и попов, пользовались широким распространением в революционной парижской среде, в среде ремесленников, солдат, студентов, вообще городской бедноты; Беранже — также автор многих веселых застольных песен, в которых воплощен протест богемы против сытой жизни мещан—рабов буржуазной морали, ее пренебрежение к соблазнам „золотого тельца“.

рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и кончая Jardin Mabile-м! [1]

Но я уж слишком заболтался, а капитан давно меня ждет. Камердинер отворил дверь: милости просим, пожалуйте.—Soyer le bienvenu!

Капитан Файот был человек лет 50-ти, хорошо вымытый и выбритый англичанин, в черном завитом парике.

На этом довольно обыкновенном лице сиял какой-то тихий отблеск милого простодушия и неистощимой доброты сердечной. Он принял меня очень, очень радушно, не смотря на то отвращение, с каким того времени англичанин должен был смотреть на небритого человека. Но капитан был выше этих предрассудков, тем более, что он принадлежал к радикальной партии и понимал значение бороды. В одном только случае он немножко спасовал и сделал маленькую уступку: к нему приехали из Англии какие-то родственники—долговязый Reverend [2] в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках, и столь же длинная пожилая мисс. Тут он просил меня не приходить к нему в эту неделю. „Потому что, вы знаете, сказал он с милым замешательством: у них свои предрассудки". Он очень боялся, чтобы они не проведали, что он в близких отношениях с небритым человеком. С тех пор все переменилось в Англии. После Крымской войны борода вошла в моду и сделалась не только не подозрительною, но даже признаком чистейшей аристократической крови. Герцог Кембриджский носит прекрасную окладистую бороду, а у здешнего [3] вице-короля графа Спенсера огромная рыжая борода, как-то веером, точно как у какого-нибудь деревенского старосты. Когда-то у нас высшие чиновные классы перестанут бриться?—что Герцен назвал пошлым варварством. И действительно, в этом нам не перещеголять американских дикарей: они не только что бреют, но еще выделывают узоры на лице: вот вам бы еще до этого совершенства достигнуть. Наполеон I пророчествовал России всемирное владычество, когда у нее будет царь с бородою (un czar à barbe): кто знает? Бог даст, мы и до этого доживем!

Но довольно о бороде: теперь ее значение известно целому свету.

---

[1] Через два года после этого (1840) аббат Бюрò, услышав о моем обращении, написал очень дружелюбное письмо к моему духовному отцу аббату Монвиссу: он старался всеми силами привлечь меня в Мец, сулил мне золотые горы; je lui ferai un sort, писал он, но мой sort или жребий был уже решительно брошен в другую сторону итак я в Мец более не возвращался. Прим. В. С. Печерина. Jardin Mabile -- увеселительный сад в Париже.

[2] Священник.

[3] Ирландского.

Капитан приказал камердинеру дать мне сюртук и рубашку. Сюртук, с позволения сказать, был не первой молодости — немножко потертый на локтях и с прорехами под мышками, но даровому коню в зубы не смотрят. Все ж таки я думал, что в этом наряде я имею вид порядочного человека, т.-е. présentable! Но я вскоре был разочарован. Нашелся какой-то добрый поляк, очень скромный и степенный человек в долгополом семинарском сюртуке, дававший разные уроки в городе, он принял во мне живое участие и отрекомендовал меня какой-то даме для английских уроков. Я пошел ей представиться. Она осмотрела меня с головы до ног, слегка улыбнулась — в глазах ее было написано по-русски: хорош гусь! а по-французски она отвечала: „Очень хорошо, я за вами пришлю!“ И никогда не присылала.

Капитан тотчас посадил меня за работу. „Да сделайте милость, пишите поразборчивее и самыми крупными буквами так, чтоб не трудно было читать“. Бедный капитан! он думал, что в ложе так мало обращают внимания на его речи именно потому, что они не довольно четко переписаны. Я припомнил свои занятия в Временной Комиссии для решения счетов печатных дел прежнего времени у Синего моста, и принялся писать, не только канцелярскими, но даже евангельскими буквами. Сначала я работал в особенной комнате, но после он посадил меня в свой кабинет, на мягком комфортабельном канапе, заваленном бумагами и книгами. Это было раздолье. Иногда работы было немного — я читал какой-нибудь роман или чинил перья — точно какой-нибудь чиновник иностранной Коллегии. Так я проводил целые дни в тишине этого кабинета. На этом мягком канапе развились и созрели многие и многие мысли, из которых сложилась вся моя последующая жизнь.

А капитан сидел за своим бюро и писал, писал, все писал.

Капитан был человек популярный: к нему часто заходили по утрам знакомые посидеть, потолковать о том, о сем, особенно о политике. В то время в пущем разгаре был спор между либералами и католиками особенно по случаю предложения в палатах—выдать архиепископу мехельнскому 40 000 франков на первый подъем для получения кардинальской шляпы в Риме. „Ну, скажите! на что это похоже?“—говорил капитан: „народ должен платить 40 000 франков за одну шляпу для этого господина. Пойдите-ка на зеленый рынок: там сидят дюжие дебелые фламандские бабы, у них отличные шляпы с широчайшими полями — настоящие кардинальские: их стоит только перекрасить в красный цвет, и все это будет стоит несколько франков“.—Вот этак капитан подшучивал над его высокопреосвященством. Во время этих бесед я держал свою позицию, т.-е. сидел, как столоначальник за

своим столом с пером в руке; но, впрочем, принимал участие в общем разговоре и в бутылке хорошего бордò, каким капитан обыкновенно потчивал своих гостей.

Однажды пришел к нам вовсе неожиданный посетитель: толстый, приземистый, широкоплечий, смуглый, краснощекий, весь в прыщах, миссионер, с очевидным намерением обратить капитана в истинную веру. Капитан принял его очень учтиво, поднес ему стакан славного бордо и завел общий разговор о веротерпимости, христианской любви и пр. Миссионер был так заколдован любезностью хозяина, а может быть и его вином, что посидевши немножко и допивши свой стакан, он раскланялся и удалился во-свояси, не заикнувшись ни слова об истинной вере. Я внутренно хохотал, а вино в самом деле было хорошо. Капитан опять сел за свое бюро и писал, писал... Однако ж, пора вам сказать, что такое он писал. Произведения его не отличались оригинальностью: он просто вырезывал лоскутки из проповедей Блэра[1] да из передовых статей радикальной газеты: Weekly Despatch[2], сшивал их белыми нитками и потом давал мне выгладить утюгом и придать французский фасон; но я этим не довольствовался, а иногда на этом поле я сам от себя вышивал новые узоры, т. е., говоря без фигур, я вставлял в этот перевод целые фразы и тирады собственного сочинения и самого ярко-красного цвета. От этого происходили презабавные сцены в масонской ложе. Почтенные члены были вне себя от изумления, никак не могли понять, откуда взялась у капитана такая необычайная прыть. Некоторые даже нашли нужным серьезно ему заметить, что он слишком далеко увлекается своими революционными идеями. А он ни душой, ни телом не виноват. Все это было дело секретаря. Не правда ли, и у вас это иногда случается?—Он сам мне рассказывал об этих сценах не без некоторого самодовольствия. Это очень льстило его добродушному самолюбию, что его принимали за большого революционера. Наконец, по английской пословице, выпустили кошку из мешка (the cat out of the bag), тайна открылась и я сделался известным целому городу своим знанием французского языка. Этим, правда, не мудрено было блеснуть в Льеже, где даже газеты издавались каким-то безграмотным людом и отличались своею пошлостью и грамматическими ошибками. Зато уж я неусыпно трудился, изучая la Grammaire des Grammaires[3] так, чтоб не сделать ни малейшего промаху против правил языка. Вследствие приобретенной мною известности, пастор реформатской

---

[1] Blair (1718—1800)—знаменитый шотландский проповедник и профессор реторики, реформатор церковного красноречия, которому он придал характер моральных поучений.

[2] „Недельные вести" (английская газета).

[3] Грамматику грамматик.

церкви—именно, помню, обратился ко мне с просьбою предпринять перевод книги Штрауса: Das Leben Jesu[1]— на французский язык. Я тотчас согласился по-русски, т. е. на авось, ни мало не принимая в соображение трудности этого предприятия. Когда я перевел один печатный лист, прежде нежели итти далее, нашли нужным посоветоваться с каким-нибудь сведущим литератором. Таковым считался в Льеже некто г. Фурдрен (Fourdrin), автор нескольких драматических пьес в романтическом роде. Он подал свое мнение: „Я полагаю, что это очень верно с подлинником; ошибок против грамматики нет; но все ж таки это не по-французски. Ce n'est pas français".—И он был совершенно прав. Такая книга, как Штрауса Leben Jesu, вовсе не переводима. Ее надобно передумать французскою головою, пересочинить и переложить на французские нравы,—что после и было сделано, кажется, г. Литре[2]. Несмотря на неудачу, пастор заплатил мне за этот печатный лист 20 франков—это было началом моего знакомства с Фурдреном; знакомство превратилось после в теснейшую дружбу. Фурдрен был отчаянный республиканец, но вместе с тем благороднейший человек во всех отношениях. Он выдумал средство помогать мне самым деликатнейшим образом, так что я долго даже и не подозревал, что от него получаю пособие. Но об нем поговорим позже. Он заслуживает особенной главы.

Капитан Файот был в полном смысле человек народа, homme du peuple. Иногда по вечерам он, подобно Гарун-Ал-Рашиду, переодевался в синюю блузу и отправлялся в кофейню, где обыкновенно собирались ремесленники и рабочие. Тут он их потчивал пивом и беседовал с ними о их нуждах и о средствах улучшить их состояние, а иногда и практически помогал им: сунет тому или другому франк и полфранка в руку. Да и со мною он точно так же обходился, как с ними.

Однажды он сказал мне: „Сегодня воскресенье—работать не годится: вот вам полфранка, пойдите прогуляться за город, да выпейте кварту пива за мое здоровье",—что я буквально и исполнил.

Капитан давал мне 5 франков в неделю, а под конец дал 30 франков сразу. Больше от него требовать было невозможно. Средства его были очень ограничены, а просителей

---

[1] „Жизнь Исуса"—одно из крупнейших произведений, вышедшее из рядов левых гегельянцев. Его автор—Давид Штраус (1807—1874)—развивал ту точку зрения, что евангельские рассказы об Исусе являются мифом. Книга вышла в 1835 г. и оказала очень большое влияние на развитие современной мысли.

[2] Литре—французский философ-позитивист (1801—1881), действительно перевел книгу Штрауса на французский язык и издал ее в Париже в 1839—1840 г.г.

у него была бездна, потому что на материке воображают, что каждый англичанин непременно должен быть богатым. Иногда я у него обедал, но обед его был очень, очень скромный.

Мне придется не раз еще говорить об нем в этой летописи. Память его навсегда останется для меня священною. Он первый приютил меня, прокормил и обогрел, как эту бедную стрекозу, что

Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.

Hic explicit liber primus de Capitano—deinde incipit liber secundus de Camerario.

Deo gratia! [1].

Имя капитана Файота не погибло в Бельгии, какой-то его родственник Файот заведывает железными дорогами [2].

Глава II.

О камердинере.

„Случалось ли вам когда нанимать слугу?—я говорю нанимать, потому что теперь крепостных уже нет".—Разумеется; нельзя же быть без прислуги.—„Очень хорошо. Ну, скажите пожалуйста: с какою целью вы нанимали слугу?"—Как, с какою целью? Для того, чтобы он мне прислуживал: чистил бы мне сапоги, подавал бы умываться, прислуживал бы за столом, да ходил бы на разные посылки—мало чего не найдется делать в доме?—„К крайнему моему сожалению вижу, что у вас все еще старые эгоистические предрассудки. Нет! не так понимал вещи мой капитан! Он нанял себе слугу,—(или лучше: камердинера—это как-то благороднее) вовсе не для того, чтоб он ему прислуживал".—Ну да для чего же?—„А для того, чтоб он был ему товарищем, другом или лучше сказать сыном. Не забудьте, что капитан был нечто в роде Сократа. По Сократовой методе, он решился сделаться повивальной бабкой бессмертной души этого камердинера,—внутренно образовать, развить,

[1] Здесь кончается книга первая о Капитане—отсюда начинается книга вторая о Камердинере. Благодарение богу.

[2] Не знаешь ли ты, какой это долгоухой немец написал биографию покойной императрицы самым подлейшим камерлакейским слогом? А тут еще на беду какая-то дама вздумала перевести эту дрянь на английский язык. Просто срам и позор! (Прим. В. С. Печерина). Печерин говорит о жене Николая I, Александре Федоровне (ум. в 1860 г.), и о посвященной ей книге А. Гримма (A. Th. Grimm „Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland" 2 т. т., Лейпциг, 1866).

вывесть на божий свет и собственными руками вспеленать эту новую душу, его же стараниями украшенную всеми лучшими дарами чистейшего либерализма, высокой честности и христианской любви—вот какую он себе задал задачу!“

Тут мне вдруг пришло на мысль, что капитан был немножко мне сродни... „Помилуйте! да как же это возможно?—Вы где родились?“—Да там где-то в Козелецком повете Черниговской губернии.—„Ну, а капитан где?“—В каком-то английском шире, не помню именно где.—„Какое же тут может быть между вами родство? Ведь вы стоите на двух противоположных концах Европы!“—Извините: есть плотское и есть духовное родство. По духовному родству капитан был мне очень, очень близок. Мы оба вели свой род от одного знаменитого предка: пресловутого рыцаря ламанчского, воспетого Сервантесом. Да, да, капитан был мне сродни.—

Вот поэтому-то мы сразу поняли друг друга.

Мы не сказали ничего,
Но уж друг друга знали.

Он тотчас же подарил меня своею доверенностью и взял меня в сотрудники не только своей литературной деятельности, но даже и в деле воспитания, так что я сразу попал в министры просвещения и духовных дел. После этого вам не покажется удивительным, что капитан пригласил меня каждое утро завтракать с его камердинером для того, чтобы влиять на него назидательными речами и благими примерами и пр. Дон-Кихот да и только!

А у парня, т. е. камердинера, была препустейшая голова. Он был нечто в роде гвардейского офицера или петербургского гарсона: любил хорошо одеваться, густо помадил и ухарски завивал свои белобрысые кудри, посещал иногда театр и другие публичные места и был поклонником прекрасного пола. Кроме женщин, мод и балов, едва ли можно бы о чем с ним говорить. Дело воспитания подвигалось очень медленно. Материалы были самые неблагодарные. Иногда мне случалось слушать длинные рассказы о любовных приключениях этого Алкивиада. Но все ж таки со временем я успел внушить ему уважение к себе и доверенность, а это мне помогло сослужить ему службу в одном важном случае.

Капитан, как отличный директор совести (directeur de conscience), не довольствовался тем, что управлял действиями своего камердинера у себя дома, но он непременно хотел еще завладеть всею его внешнею обстановкою, для того чтоб предохранить его от дурного общества. С этою целью он предпринял основать общество или клуб молодых людей, которые собирались бы по известным дням в неделе для взаимного обсуживания разных нравственных и политических вопросов, а в конце была бы небольшая закуска. Все

было подготовлено по строгим правилам английских митингов—даже и деревянный молоточек для председателя, чтобы давать разные сигналы. На первый раз, когда сам капитан председательствовал, дело шло довольно порядочным образом, но после оно превратилось просто в бражничество. Помнится, я всего только один раз был в этом клубе. Некоторые очень порядочные люди, вступившие было в это общество, пришли жаловаться к капитану, что они ужасно как обманулись в своих ожиданиях, нашедши вместо чинного собрания какое-то сборище молодых шалунов. Бедный капитан был в большом замешательстве. „Ну что ж вы хотите с ними делать“, говорил он: „ведь здесь в Бельгии вовсе не понимают, как должно вести себя в порядочном митинге!“ Еще бы! Ожидать от француза или его обезьяны бельгийца чинного собрания, где не горланят и не размахивают руками, это просто донкихотство.

Бельгийцы ужасно обезьянничают французов—это не хуже нашего. Наши обезьяны—по крайней мере в мое время—очень удачно перенимали все ухватки, приемы, замашки и произношение французских парикмахеров и гарсонов, и думали, что вот это самый лучший тон. Вот по случаю-то этого бельгийского обезьянничества мне удалось сослужить истинную службу этому молодому камердинеру. „Во Франции есть—point d'honneur и дуэль, следовательно и в Бельгии должны быть point d'honneur и дуэль“. Последуя этому правилу, мой камердинер, поссорившись с товарищем за какие-то пустяки, тотчас же вызвал его на дуэль. Это дошло до капитана. Вообразите себе его положение. У каждого англичанина есть свой конёк, а его особенным, специальным коньком была—**дуэль**. Он беспрестанно и писал и говорил в масонской ложе против дуэли; а теперь в его собственном доме его-же собственное чадо впал в такой тяжкий соблазн. В ужасном переполохе он тотчас послал за мною и умолял меня ради христа употребить все мое красноречие, чтобы их помирить. Я отправился парламентером между враждующими сторонами и нашел их в какой-то кофейне. Что такое я им говорил и какими доводами я старался их убедить—теперь вовсе не помню; но знаю только, что даже без большой потраты красноречия, мне удалось их помирить и даже они сами кажется внутренно радовались, что я помог им выйти из этой кутерьмы. И так я возвратил этого блудного сына под кров и в объятия его духовного отца.

Прошли дни, недели, месяцы, и наконец мы как-то разошлись с этим молодым человеком—вот по какому случаю. Я всегда был под влиянием той или другой философской системы: этот бес никогда меня не покидал. На этот раз он принял образ Пифагора. В библиотеке капитана

было множество книг, относящихся к этой философии, между прочим целое житие чудотворца Аполлония Фианского[1]. Все это я прочел от доски до доски, пережевал, проглотил, переварил, усвоил себе, превратил в сок и кровь и — сделался пифагорейцем. Из этого вытекли два последствия.

1-е. Совершенное воздержание от мясного; так было почти целый год: я ни куска мяса не ел.

2-е. Нежнейшее сострадание ко всему живущему.

В то время я считал бы уголовным преступлением умышленно убить муху. Вот в этом-то расположении духа прихожу однажды к завтраку и вижу — мертвая кошка лежит растянувшись на окне. „Ах, боже мой! как же эта бедная кошка погибла?“ — А вот видите, — сказал камердинер с некоторым замешательством, — она, злодейка, выпила все наши сливки, приготовленные к завтраку — вот я ее так и шарахнул об стену — вот она тут и лежит! — С этой минуты я возненавидел этого малого: он мне казался чудовищем, извергом человеческого или по крайней мере кошачьего рода. Под предлогом, что у меня были домашние уроки по утрам, я сказал капитану, что больше не приду к нему завтракать. Купил себе кофейник и сам варил себе кофе на спиртовой лампе. Да здравствует Пифагор! С тех пор мои сношения с этим молодым человеком не прекратились, но как-то холодели и медленно тянулись до конца... Через три года после того как я навсегда простился с капитаном, я встретился с камердинером,—где вы думаете?—В церкви редемтористов в Льеже. Тут была большая вечерняя служба, называемая Salut, с большим оркестром и полным освещением. На хорах подле самого органа стоял мой Алкивиад как-то небрежно, почти развалившись, опираясь на свою трость, и выпучив глаза с каким-то бездушным любопытством смотрел на то, что происходило у алтаря. А подле него—да всплошь подле него и неведомо ему—с преклоненною головою, в монашеской одежде, на коленях, стоял—frère Petcherine![115] Кто из нас двух был глупее, трудно решить!

---

[1] Пифагор — греческий философ VI века до нашей эры, основатель религиозно-философской системы, основными элементами которой было признание загробной жизни, переселения душ и целостного строения мира, подчиненного законам „гармонии и числа“. Учение П. известно лишь в мистико-фантастических изложениях его последователей. — Аполлоний Тианский — легендарный странствующий философ и чудотворец, фантастические, наполненные чудесами рассказы о котором относят его жизнь к 1-му веку. Легендарные рассказы об этом пророке-чудотворце являются одним из источников христианских легенд об Иисусе.

[2] Брат Печерин.

Макналли и К°

(иллюстрированное издание).

Ах! юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, погибель презирая,
Мы все делили пополам.

Братья разбойники.

Mc Nally & Co.
Cirage anglais, première qualité
maison de Londres.

Эта скромная вывеска выставлена была в окне первого этажа небольшого домика в улице *** в городе Льеже.

Кто такой Макналли—это уж вы знаете: это тот самый ирландец, что отрекомендовал меня капитану Файоту. А кто ж это и К°? Никто иной, как ваш смиренный раб и богомолец Владимир Сергеев сын Печерин; сколько мне известно, другого сотрудника или сообщника у Макналли не было. Вот на какие хитрости люди подымаются! Материалы для этой первоклассной Лондонской ваксы покупались на рынке в Льеже, да к тому же еще самые дрянные. Макналли ничего не смыслил в этом деле. Я помогал ему в его химических упражнениях, а он между тем помирал со смеху. „Ха-ха-ха! Как же мы славно надуваем почтенную бельгийскую публику!“ Изготовивши несколько бутылок, наполненных какою-то грязью, мы, перекрестясь, отправлялись на промысел, как истые братья-разбойники или рыцари промышленности. Не отрицай же теперь, что у меня есть способность к делам! Я нес под мышкою бутылку на пробу, как лучший образчик этого драгоценного лондонского продукта, а у Макналли за пазухою было несколько старых бритв, купленных на толкучем рынке, которые он тоже выдавал за настоящие английские. Без малейшей застенчивости мы втирались в самые значительные дома, даже к королевскому прокурору, Monsieur le Procureur du Roi. И мы очень удачно сбывали свой товар. В одном доме ни за что ни про что, вероятно из спекуляции, Макналли вдруг вздумал рекомендовать меня, как étranger distingué, [1], что даже был профессором. Этот господин так и покатился со смеху: „Ха-ха-ха! вы

[1] Известный иностранец

были профессором?! vous professeur! ха-ха-ха." — Тут я непременно должен сделать важное физио- и психологическое замечание.

Очевидно, что в самой сущности моего бытия было что-то несовместимое с профессорским званием. Вот этому другое доказательство. Был с нами в Берлине московский англичанин Колли: он очень был дружен со всеми членами профессорского института; он тоже никак не хотел верить, что я когда-либо мог быть профессором: „Это невозможно! это немыслимо!" А ведь он славно угадал!

Когда наш промысел шел удачно и мы выручали несколько денег, Макналли обыкновенно потчивал меня чаем á l'anglaise, [1] что в Бельгии считалось большою редкостью— это значило „гулять так гулять!" Мы беседовали между тем о наших прошедших трудах и будущих надеждах. Мы перебивались кое-как на все возможные лады. Один француз винопродавец нанял нас на целый день переливать, не из пустого в порожнее, а вино из бочки в бутылки. После этого у меня ужасно как болела голова от винных паров. Но этот торговый промысел не долго продолжался. Макналли вообще не любил оседлого честного труда; ему хотелось приключений и бродяжной жизни; вот он так и покинул меня и пустился искать более романтических ощущений. От этих не очень блистательных занятий я вынес один полезный урок: теперь я знаю по опыту, как бедные люди должны хитрить и перебиваться, чтобы зашибить копейку. Я был истым пролетарием не на словах, не в пышных фразах республиканского оратора, а на самом деле, в черствой действительности... Все это, разумеется, происходило прежде, чем я окончательно уселся на канапе за письменным столом у капитана Файота.

Наконец я расстался с петушком и нанял себе квартиру на втором этаже, а внизу была кофейня. Мне дали какую-то странную комнату, всю набитую старою мебелью и какими-то фамильными портретами. Я вообразил себя испанским хидальгом [2], доведенным до крайней бедности неприязненными обстоятельствами, но с истою испанскою гордостью, сохранившим древнюю мебель своего замка и портреты своих знаменитых предков. И действительно, испанский хидальго был в очень стесненных обстоятельствах: когда ему пришлось отдать свою рубашку в мытье, то он несколько дней должен был ходить с плотно застегнутым сюртуком по самое горло, так что даже с помощию микроскопа невозможно было бы открыть ни малейшего следа белья. В этом же маленьком доме

---

[1] По-английски.

[2] Испанский дворянин; образ нищего, но гордого хидальго популяризировал Сервантес своим Дон-Кихотом, „хитроумным хидальго из Ламанча".

остановился маленький живописец-сицилианец с сверкающими глазами и черными как смоль, курчавыми волосами. Он со мною подружился и брал у меня уроки французского языка.— Как будто нарочно нам пришлось читать вместе приключения Жилблаза. [1] Иногда во время урока он глядел на меня и помирал со смеху. „Ведь это ваша история!“ говорил он. И в самом деле, занятия Жилблаза у Архиепископа Гранадского очень как-то подходили к моей секретарской должности у капитана Файота.

Но тут вдруг—ай! ай!—перелом. Об этом позже. Довлеет дневи злоба его. Il faut se faire desirer [2].

Перелом.

PAIN BIS ET LIBERTÉ. [3]

(Древняя надпись на стене пятого этажа на Гороховой улице).

Книги—вещи преопасные: от них рождаются идеи, а следовательно и всевозможные глупости. [4] Книги имели решительное влияние на главные эпохи моей жизни. Да еще бы ничего, если бы это были настоящие книги, т.-е. какие-нибудь фолианты, или in-4⁰ или большие in-8⁰; а то нет: самые ничтожные брошюрки в каких-нибудь сто страниц решали судьбу мою на веки веков. Брошюрка Ламене заставила меня покинуть Россию и броситься в объятия республиканской церкви. А тут именно в то самое время, когда я жил испанским хидалгом с древнею мебелью и фамильными портретами во втором этаже над кофейнею, попалась мне в руки крошечная брошюрка, даже и заглавия ее не помню: в ней просто рассказывалось житье-бытье трех итальянских выходцев—как они жили в уединении, в захолустье, в какой-то хижинке, держась в стороне от пошлого стада réfugiés, занимаясь науками, ни у кого ничего не прося, не ища ничьего покровительства, в крайней бедности, довольствуясь самым необходимым, и таким образом сохраняя достоинство республиканца и человека...

---

[1] Т. е. знаменитый нравоописательный и сатирический роман „История Жиль Блаза“ Лесажа (1668—1747); герой его, неунывающий бедняк, приходит в соприкосновение с самыми различными общественными группами, переживает ряд затруднительных положений, но благодаря своей энергии, бодрости и остроумию из всех них выходит победителем.

[2] Надо сделать себя желанным.

[3] Черный хлеб и свобода.

[4] За эту фразу покойный Николай Павлович [т. е. император Николай I] наверное сделал бы меня по крайней мере камер-юнкером. Жаль, что он умер. [Прим. В. С. Печерина.]

Мне стало стыдно. Эта брошюрка, как яркая молния, осветила темные закоулки моей души, обнажила основные начала моего бытия, разбудила заснувшие инстинкты и стремления и напомнила мне то золотое время, когда на моей квартире в 5-м этаже на Гороховой улице было написано: „Pain bis et liberté!"

Да! „Pain bis et liberté". Долго, долго в этом пятиэтажном доме, а особенно в его мелочной лавочке, хранилось предание о бедном-бедном студенте, как он спускался с пятого этажа и закупал в этой лавочке черный хлеб, квас и лук и из этого делал себе спартанскую тюрю и славно обедал в 6 часов вечера по классическому обычаю древних (coena antiquorum). Единственною подругою его в этой конурке была веточка плюща, посаженная в горшке: она как-то уныло вилась по окну. Это было как будто предчувствие Англии, где все — и вековые дубы, и вязы, и стены древних и новых зданий — все обвито зеленым плющом. Незабвенные дни свободы духа и чистоты сердечной! Ах! если б мой отец — вечная ему память! — если б он немножко, крошечку был пощедрее, да прислал бы мне каких-нибудь лишних сто рублей! Я бы может быть достославно выдержал эту битву и не надел бы на себя казенной сермяги...

Но где же перелом? Какая произошла перемена?

Это требует объяснения.

До тех пор (1838) все мои идеи были чисто французские, а французские идеи непременно влекут за собою французский образ жизни. Какой же это французский образ жизни? а вот он какой!

Сидеть целый день в кофейне, разглагольствовать о политике, прислушиваться к отдаленным отголоскам европейских революций, сыграть иногда партию в домино, отрезывать каламбуры и строить куры à la demoiselle du comptoir [1] (этого даже нельзя выразить чистым русским языком) — вот обыденная жизнь молодой Франции, моих собратий по республике.

„Вы не можете себе вообразить, какую это делает разницу, когда этак порядочно одетый человек зайдет в кофейню — выпьет рюмочку absinthe или чашку кофе avec le gloria и потом, разгладив усы и закуривши сигарку, выходит на бульвар — он чувствует себя чем-то особенным, чувствует свое достоинство". Клянусь богом, что я не сочиняю, а только буквально повторяю, что́ я тысячу раз слышал из уст моих товарищей. В Цюрихе я был очень дружен с некиим Бандельé (расстригою-попом), мы с ним было затеяли издавать новую газету под звонким титулом: le Peuple Souverain [2].

---

[1] Кассирша.
[2] Суверенный народ.

Мало мы заботились о серьезной части этого предприятия, а мечтали только о том, как мы будем комфортабельно сидеть в конторе нашей редакции, да курить славные сигарки!

У француза свое особенное миросозерцание. Спросите например у англичанина, для чего человек живет на свете, для чего он создан? Он вероятно будет отвечать: „to do business!“, „для того, чтобы дело делать“; американец-янки прибавит: „to make money“, „для того, чтоб зашибить копейку“. Но все-таки у обоих есть понятие о какой-то полезной деятельности. Теперь предложите этот же самый вопрос французу, — где бы вы его ни встретили, — хоть бы под северным полюсом, — он непременно вам ответит: „L'homme est né pour le plaisir“, „наслаждение — вот конечная цель человека“. В сен-симонистской религии предполагалось заменить церковь театром. Где? в какой стране? какому народу пришла бы подобная мысль? Это чисто парижская идея.

Величайший и единственный лирический поэт Франции Беранже вполне осуществляет в себе французскую идею: все его песни на один лад: plaisir et gloire! [1] Заметьте еще, что во французской голове вовсе не находится понятия о долге, т. е. о нравственной обязанности. Нельсон перед трафальгарскою битвою говорит своим матросам и солдатам: „England expects every man to do his duty“, „Англия надеется, что каждый из вас исполнит свой долг“. Не правда ли? это кажется очень коротко и сухо, а для англичанина довольно. Русский генерал сказал бы: „Ну теперь, ребята, постарайтесь за царя да за Русь святую!“—„Рады стараться! ваше прpppp...“ отвечает тысяча голосов: тоже очень скромно и без малейшего фанфаронства, потому что у русского, как у англичанина, есть понятие о священном долге служить царю и отечеству. А у француза оно вовсе не существует, а есть напротив безмерное, ничем не истощимое тщеславие. Чтоб удовлетворить этому тщеславию — Наполеону надо было притащить целую обузу пирамид, до сорока столетий, смотрящих с высоты их на французских пигмеев. Было время, когда перед этою фразою с благоговением преклоняли главу; а теперь всякий видит, что это просто галиматья, французская риторика, шарлатанизм, общий Наполеону I и III. Риторы погубили Грецию; те же риторы погубили и Францию. Если б я имел власть в руках, я б под смертною казнию запретил преподавать риторику.

Из всего этого ты видишь, что у меня есть зуб на Францию — именно за то, что она своими идеями заставила меня жить и действовать наперекор моим врожденным наклонностям. Нет ничего противнее моей натуре, как французские фанфаронство и рассеянность. Но чего не

[1] Наслаждение и слава.

сделает человек из так называемых убеждений? Он и в огонь и в полымя пойдет, и с мошенниками будет за панибрата—от этого я теперь ненавижу все возможные убеждения.

Брошюрка сделала решительный переворот в моих мыслях: она отдала меня самому себе. Каждый раз, когда новая мысль овладевала мною, я ни на минуту не отлагал ее практического приложения. Сказано и сделано.

Для новых мыслей требовалось новое помещение. Я пошел искать себе квартиры. В глухом переулке Rue des Prémontrés отдавалась в наем квартирка у дряхлой старушки M-me Joarisse. Это была комната, что у нас называют — в первом этаже, т.-е. au rez de-chaussée, окном на двор: перед окном было несколько деревьев: они придавали этой комнате какой-то зеленый полусвет. На кровати, где мне должно было спать, умерла сестра хозяйки, монашенка. Какой-то гений уединения парил над этим жилищем. Квартирка мне приглянулась: я условился с хозяйкою за 10 франков в месяц, да сверх того приговорил, чтобы она мне готовила обед исключительно из одних овощей — я тогда уже был по уши в Пифагоре. Но через несколько времени она нашла это неудобным и невыгодным для себя. Что ж тут делать? Чтобы избавить ее и себя от хлопот, я решился привести свою кухню к самому простейшему выражению; итак каждый вечер в 6 часов меня ожидало на столе дымящееся блюдо, состоящее из пяти вареных картофелей с хлебом и маслом, и этим обедом я довольствовался в продолжение почти двух лет.

С легкой руки этого новоселья начинается ряд знаменитых глупостей, одна лучше или хуже другой; я их перечислю по нумерам, как деловые бумаги.

№ 1. Я решился так усердно работать на капитана, чтоб он никогда не был в состоянии вознаградить меня за мои труды, так чтоб не я у него, а он у меня был бы в долгу, на вечные времена. Pain bis et liberté.

№ 2. Богатый англичанин Етс (Yates), державший бакалейную лавку на площади, из уважения к капитану, прислал ко мне сидельца с предложением дать мне новый сюртук. Я учтиво его поблагодарил, но сказал, что в этом не нуждаюсь, что мой сюртук еще очень хорош (это был другой, купленный мною на толкучем, долгополый коричневого цвета и очень приличный), а двух сюртуков по моим правилам мне иметь не подобает. А главная мысль была та: довольно иметь одного благодетеля капитана: зачем же принимать на себя бремя новых благодеяний и дать этому англичанину право сказать: „Я одолжил Печерина!“ Я поступил точно как Авраам в Книге бытия, гл. 14. Он отвечал царю содомскому: „Ни одной нитки, ни сапожного ремня — ничего от тебя не возьму, а не то ты пожалуй скажешь: „Я обогатил Авраама!“ — Pain bis et liberté.

№ 3. Открылось вакантное место городского переводчика (traducteur public). Мне тотчас его предложили. С этим было связано порядочное жалованье, обеспеченное положение. Но тут мне сказали, что надо принять присягу. Нет! уж этого-то я никогда не сделаю! Я никогда никакому правительству, даже и русскому царю не присягал. Да и что ж это? ведь это значит, что я буду на жалованье у правительства, т.-е. чиновником. Нет! покорно благодарю! Довольно с меня и того, что я был подканцеляристом Государственного Контроля во Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел, прежнего времени, у Синего моста!

Нет, уж лучше останусь по прежнему вольным казаком с моим: Pain bis et liberté.

№ 4. Какой-то английский милорд, живший недалеко от Льежа, искал себе гувернера для детей. Капитан меня отрекомендовал. Но его главным условием было то, чтобы я был безотлучно с детьми с утра до вечера. Как же мне принять на себя такую обузу? Я привык к необузданной свободе. У капитана я работал только до третьего часу, а по праздникам и вовсе к нему не ходил. Иногда я на целый день уходил за город. Там где-нибудь в чаще леса или на открытом поле в густой траве я лежал с романом Жорж Занда в руках. Солнце ярко блистало над головою; теплые ветерки резвились вокруг меня; жаворонок вился высоко в голубом небе и пел гимн свободе. Воля! воля! воля! поет жаворонок в небе: как же мне себя закабалить в этакую неволю? Нет! покорный слуга! Ищите себе другого гувернера! а я останусь при своем: Pain bis et liberté.

№ 5. Капитана сделали библиотекарем в масонской ложе. Ему очень хотелось взять меня себе в помощники и следовательно переманить в масонство. Я уже прежде сказал, почему франмасоны мне всегда казались смешными; а тут еще капитан притащил целый пук бумаг—сочинения франмасонов. Каждый член, вступая в ложу, обязан написать краткое изложение своего образа мыслей, этак не больше странички. Но это были такие пошлые ученические упражнения в риторике, что я сам за них краснел и никак не согласился бы подвергнуть себя подобному испытанию. А материальные выгоды от масонства были очевидны. Франмасоны были всемогущи не только в Льеже, но и в целом королевстве: с их покровительством я мог бы всего достигнуть. Но покровительства-то именно я и не хотел. Кроме Фурдрена (Fourdrin, а не Фурье, как ты пишешь) у меня еще был приятель математик и студент медицины Лекуант (Lekointe). По собственному его признанию экзамен его вышел как-то не очень блистательно. „Ну да это ничего!“ говорил он: „Наши (т.-е. франмасоны) вывезут!“ Ну что ж это такое?

думал я, ведь это то же, что у нас в России: нельзя ли как-нибудь. — Одним словом я требовал от природы человеческой невозможного. Итак и масонство забраковано! не годится! подавай мне опять старое: Pain bis et liberté!

После этого, видя, что со мною нечего делать, меня оставили в покое; а мнение обо мне поднялось на несколько градусов, даже очень высоко, до летнего жара. Вот аксиома: „Чем менее вы нуждаетесь в людях, тем более они вас уважают“. Я понимаю и вполне оценяю ответ Диогена Александру: „Не заслоняй меня своею тенью, великий монарх; дай мне погреться на солнце: я больше ничего у тебя не прошу!“—Хороши тоже слова Александра: „Еслиб я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном!“ И действительно, тут были равно-степенные державы: Диоген и Александр—deux puissances en présence!

Несмотря на все эти отказы, мои обстоятельства с каждым днем улучшались: у меня было много частных уроков, и я до того даже умудрился, что самоучкою выучился еврейскому языку и был в состоянии преподавать его начала одному воспитаннику гимназии (Collége). Я уже прежде упомянул, что было в виду дать мне кафедру греческого языка в том же Collége.

После всего этого любопытно прочесть, как Герцен объясняет мой переход в католичество. Вот его слова в Полярной Звезде 1861: „Бедность, безучастие, одиночество сломили его; он не знал, что делать и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ, упал в иезуитский монастырь!“ [1]

Это написано à priori — так должно быть, следовательно так и было! Нет! из всего предыдущего ясно, как день, что я вовсе не сломился, а стоял очень прямо и твердо на своем пьедестале и никак никому и ничему не поддавался...

. . . lascia dir la gente!
Sta, come torre, fermo, che non crolla
Giammai la cima per soffiar de' venti. [2]

---

[1] Печерин имеет в виду статью Герцена „Pater V. Petcherin“ („Отец В. Печерин“), в которой Герцен описал свое свидание с Печериным в Лондоне в 1853 г. Статья эта, в которой Герцен впервые напомнил русским читателям о Печерине и его судьбе, была напечатана в 6-й книге „Полярной Звезды“ в 1861 г. и затем перепечатана лишь в IX томе сочинений Герцена в 1879 г. Печерин, следовательно, мог пользоваться только текстом „Полярной Звезды“. Несмотря на попытку Печерина опровергнуть герценовскую характеристику причин его обращения к католицизму, все содержание печатаемой автобиографии целиком подтверждает слова Герцена.

[2] „Предоставь людям говорить! Стой твердо, как башня, которая никогда не склоняет главы под ударами ветра“. Первую строку этой строфы Данте (Чистилище, V, 13—15) в несколько измененной редакции привел, как известно, К. Маркс в заключение своего предисловия к первому тому „Капитала“.

Из рук вон!

Пред расставаньем вернемся назад.

Ах! где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!

Русская потаенная литература [1].

Он посмотрел на меня таким взглядом, что я вздрогнул, перекрестился и сказал самому себе: „Славу богу, что я уезжаю, а не то он пожалуй где-нибудь в глухом переулке дал бы мне colpo di stiletto. [2] Чей же это был такой взгляд? Взрослого черноокого мальчика, полу-бродяги, полунищего, полу-мошенника и все вместе. Он бродил с шарманкою по Лугано и окрестностям; я иногда давал было ему un centesimo [3]); но после, узнавши, что он мошенник, ничего не дал и даже очень сурово отказал ему. Он взглянул на меня— ах ты боже мой!—в этих черных глазах крупными буквами написано было: vendetta [4]. С тех пор я боялся встретиться с ним где-нибудь за городом. А теперь он сидел скорчившись у огня в гостинице, где я присел на минуту перехватить кое-что перед отъездом из Лугано:—он, не сводя глаз, пристально смотрел на меня;—ему как будто было жалко, что его жертва ускользает из рук его. Между тем в дилижанс запрягали лошадей—прощай, милый Лугано! Опять на север! опять надобно покинуть теплый юг! да еще накануне рождества! А этот год (1836) как нарочно зима была необыкновенно теплая. Как теперь помню, мы сидим перед кофейнею на берегу озера. „Ведь это, ей-богу, настоящая неаполитанская зима!“ говорит Signor Пьяцца.—„Да“, подхватывает Грралленцони: „это действительно так! Ну, а посмотрите-ка на эти нежные оттенки голубых гор, отражающихся в этом зеркальном озере: это напоминает Сорренто, Исхию или Капри“.

Вдруг подъезжает дилижанс и останавливается на площади. С него спрыгивает Бьянки и весь запыхавшись подбегает к нам: „Vengo gravido di novitá“, „Я привез вам целую обузу новостей!“—Как! Что такое?—„Слушайте! слушайте! Принц Луи Наполеон попытался взбунтовать Страсбургский гарнизон, да не удалось—и его арестовали. [5]—

---

[1] Имеется в виду сборник запрещенных в России стихотворений, выпущенный в 1861 г. в Лондоне Герценом и Огаревым. Сб. включал в себя и стихотворения самого Печерина. Цитата взята из стих. Рылеева.

[2] Удар кинжалом.

[3] Мелкая итальянская монета.

[4] Месть.

[5] Имеется в виду попытка принца Людовика (Луи) Наполеона 30 октября 1836 г. взбунтовать гарнизон города Страсбурга с целью свергнуть Орлеанскую династию, сидевшую на престоле Франции, и восстановить империю Наполеона I. Попытка потерпела неудачу и принц был арестован, а затем выслан из Франции; впоследствии, использовавши политику буржуа-

„Ах, как жалко! бедный молодой человек!“—воскликнули все.—„Прекрасный малый!“ говорит Пьяцца: „он, знаете, этакой разбитной. Мы в старые годы с ним шалили. Однажды, хлебнувши немножко шампанского, мы пошли на приключения, и я помог ему вскарабкаться в окно одной красотки в Арау“. — О, Муза Истории! возьми свой резец и на твоих бессмертных скрижалях начертай этот новый подвиг Людовика-Наполеона III!

Но я уж слишком заврался. Дилижанс готов. Пора ехать. Это было кажется 22 или 23 декабря. Начинало смеркаться. Пока мы ехали прекрасною долиною Тичино, тут все еще был теплый, благорастворенный итальянский воздух; но возле Айроли подул с вершины Сен-Готарда какой-то зловещий зимний ветер. Нас пересадили из дилижанса в открытые сани, просто русские пошевни. На мне ничего не было, кроме легкого петербургского плаща—только для предосторожности я надел две рубашки. Что я претерпел в эту ночь, взбираясь шагом по снегу на вершину Сен-Готарда—этого ни пером написать, ни в сказке сказать нельзя. Я продрог весь до костей. Около полуночи мы остановились на вершине у так называемого Hospice. Я вошел в эту грязную и теплую избу и—признаюсь к стыду моему и русского имени—сел на печку и заплакал.

Физическое страдание соединялось с неизвестностью моей судьбы. Я еще в ноябре писал к тебе о деньгах, ответа не было.—Я не знал, что со мною станется.

Сивка-бурка,
Вещая каурка,
Стань передо мной,
Как лист перед травой!
По щучьему веленью,
А по моему прошенью.

Сей же час и с этой же печкою перенеси меня на берег Луганского озера, на теплое раздолье!—Уф! как холодно на дворе!

Я чай, скоро переменят лошадей: надобно будет опять лезть в сани.—Ах ты господи боже мой! Как бы хотелось мне остаться здесь хоть до утра! Да нет! нельзя! У меня денег еле-еле достанет до Цюриха, а там что будет, не знаю.

зии после революции 1848 г., Людовик-Наполеон, избранный президентом французской республики, совершил государственный переворот 2 декабря 1851 г., а затем уничтожил республику и восстановил империю, которая просуществовала вплоть до 1870 г., когда обессиленная его правлением Франция была разбита в войне с Германией. Империя пала, а сам Наполеон принужден был эмигрировать в Англию. Вплоть до своей страсбургской попытки Луи Наполеон, лишенный, как один из членов семьи Бонапартов, права пребывания во Франции, жил в Швейцарии и служил капитаном в артиллерии Бернского кантона. Он поддерживал в эту эпоху связи с итальянскими националистами—врагами владычества Австрии в Италии.

Нечего делать! Надобно покориться судьбам. Сани готовы — и мы начали спускаться с вершины горы. Любезная мать-природа с ее вечными законами доставляет нам услаждения в наших страданиях. Тут с каждым шагом температура смягчалась, становилось как-то привольнее, теплее, как будто сделалась оттепель, и наконец около рассвета мы остановились у подошвы горы в Госпендале...

Ах! где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!

Решительно, я открыл один из этих островов 24 декабря 1836 года у подошвы Сен-Готарда под 46° 76 м. северной широты в гостинице Госпендале.

Тут сделалась совершенная перемена декораций. Вхожу в общую залу: яркий огонь пылает в камине и отражается на красных занавесках,—на столе, накрытом белоснежною скатертью, стоит горячий кофе, пироги, вино,—все что душе угодно, и милая дочь хозяина встречает меня лучезарными взорами и майскою улыбкою. Все забыто—и холод, и горе! все ни по чем! все трын-трава! Я напился и наелся до сыта, славно обогрелся и так разыгрался, что даже начал строить куры этой хорошенькой девушке—как бишь это выразить по-русски? у нас говорят: волочиться; но это мне кажется очень пошло и провинциально, a faire la cour как-то благороднее и показывает большее уважение к прекрасному полу. Да, впрочем, тут и помину быть не могло о такой подлой вещи, как волокитство: ведь это не гостиница, а заколдованный замок из тысячи и одной ночи; а эта красавица вовсе не дочь трактирщика: она мавританская принцесса, находящаяся в плену у злобного волшебника, а мне суждено быть ея рыцарем и освободить ее. Так предписано вечными судьбами. Да оно уж очевидно из того, что принцесса вовсе не казалась строптивою. Вероятно она приняла меня за какого-нибудь знаменитого изгнанника, ètranger de distinction, едущего с тайными депешами из Лугано в Цюрих. Да и в самом деле, какая нелегкая понесла бы обыкновенного человека через Сен-Готард накануне рождества? Вот так-то мы, русские, надуваем честной божий народ! Целых два часа мне позволено было остаться в Госпендале. Быстро летели минуты у этого камина за стаканом вина, в этой милой беседе. Огонь камина и огонь черных глаз,— не знаю, что было жарче. Но увы! время летит... Огонь камина и огонь этих светлых глаз—все пройдет и потухнет. „Прощайте! прощайте! Моя судьба темна: не знаю, куда она меня ведет, но где бы я ни был, под каким бы то ни было небосклоном, везде, всегда ваше воспоминание, ваш милый образ будет моим единственным утешением".

Votre image est ma dernière pensée.
Et „je vous aime“ est mon dernier soupir! [1]

Каково?—Запечатлели ли мы эту минутную дружбу прощальным лобзанием—не помню—кажется; но это уж слишком скоромное воспоминание—не годится в великий пост.

Есть милые неотразимые образы: ни время, ни расстояние не могут их остановить; они вечно преследуют вас, как светлые видения лучших невозвратных дней.

Горе мне! какие звуки!
Пламень душу всю проник:
Милый слышится мне голос!
Милый видится мне лик!

Бесприютным нищим я прошел по дороге жизни. Издали виднелись царские дворцы и белые палаты богачей и звуки их веселия достигали слуха моего; но мне не позволено было остановиться и насладиться их гармониею. Иногда теплые ветерки навевали мне благоухания роз и ясминов из садов Армиды: ах! какое сладостное ощущение! как должно быть привольно в этих тенистых рощицах, на берегу этих зеркальных прудов, среди этих милых резвых видений! Но увы! это не для меня! пойдем далее! Постойте! Вот у самой дороги на закраине прелестный цветочек. Дай остановлюсь хоть на минуточку, полюбуюсь его радужными красками, упьюсь его раскошным благовонием... Нет! нет! невозможно! Вперед! вперед! кричит неумолимая судьба. Напрасно я протестую и говорю с Шиллером:

Auch ich war in Arkadien geboren! [2]

„Пошел ты с своей Аркадией!“ сурово кричит судьба, словно какой-нибудь прусский вахмистр: „Vorwärts! Вперед! вперед!“ И я послушно иду вперед, вперед, вперед—и земля вертится подо мною—

Et la terre tourne
Toujours,
Toujours [3].

Недавно один мудрец из Латинского квартала в Париже, взглянувши на меня, сказал: „Voilá le juif errant!“ [4] Это доказывает, что у французов мозг еще не совсем размягчился и что они еще способны иногда угадывать правду.

Настал день—серый зимний день. Вместо саней подвезли маленький дилижанс, где я был единственным пассажиром. Лихой парень каких-нибудь 22 лет соединял в себе должности кучера и кондуктора и тотчас завязал со мною

---

[1] Ваш образ—моя последняя мысль и „я вас люблю“—мой последний вздох.

[2] И я родился в Аркадии!

[3] А земля вертится всегда, всегда.

[4] Вот—Вечный Жид.

разговор. Он хвастался мне, что эта барышня в Госпендале — его кузина, и что он не раз с нею танцовал на бале... Счастливый соперник! думал я.

Странно ехать по Швейцарии зимою. Все ее живые прелести задернуты каким-то однообразным сибирским саваном. Эти гордые великолепные водопады, стремящиеся с громом и треском, рассыпающиеся радужною пылью — теперь очень смиренно и очень прозаически висели ледяными сосульками по серым скалам, точно как будто клочки инея на бороде русского мужичка.

Я только что отобедал в гостинице в Цюрихе и заплатил последних два франка, вдруг подходит ко мне молодой человек с газетою в руках — кажется Nouvelliste vaudois [1] — и указывает на следующую статью:

„Два патриота, Г. Банделье и кто-то другой, арестовали в Бьенне французского шпиона Кузена, т.-е. они повалили его на землю и силою выхватили у него из-за пазухи какие-то секретные бумаги".

„Этот Банделье — я сам", сказал молодой человек. [2] — „Ах, боже, мой, отвечал я: я очень рад с вами познакомиться"

Quel honneur!
Quel honheur!
Monsieur le Senateur! [3]

Судьба решительно мне благоприятствует, думал я: как же, с самого первого шагу в Цюрихе познакомиться с таким важным политическим деятелем!

Надобно знать, что из-за этого им арестованного Кузена сделалась ужасная суматоха и Тьер обложил Швейцарию герметическою блокадою (blocus hermetique) [4].

---

[1] „Водский Вестник". Вод — один из швейцарских кантонов, главным городом которого является Лозанна.

[2] Банделье (Bandelier), которого автор упомянул уже на стр. 82 и которого он характеризует очень отрицательными чертами, вряд ли заслуживал подобной характеристики; это был активный член маццiниевской организации „Молодая Швейцария" и сотрудник одноименного органа последней (1836—1838 г.г.), издававшегося в Бьенне (Brienne); он действительно принимал участие в рассказанном ниже разоблачении французского шпиона Консейля и упоминается Луи Бланом в его „Истории десяти лет" (фр. изд. 1844 г., т. V, стр. 89).

[3] Какая честь! Какая честь! Господин сенатор!

[4] Печерин имеет в виду действительный исторический факт, ошибаясь, однако, в имени французского шпиона. Его звали не Кузен, а Консейль. Этот Консейль был послан в Швейцарию французской политической полицией в качестве агента-провокатора, но был изобличен эмигрантами, которым удалось вырвать у него ряд документов, фальшивые паспорта и т. д. Разоблачение французского агента-провокатора вызвало в Швейцарии громадное возбуждение, уступая которому швейцарское правительство заняло очень вызывающую по отношению к Франции позицию. В ответ на это французское правительство (во главе которого в тот момент стоял уже не Тьер, как ошибочно пишет Печерин, а Молэ) прервало все сношения со

„Позвольте вам еще доложить", сказал опять г. Бандельe,—„что я тоже участвовал в Савойской экспедиции".— Et je vous en félicite![1] сказал я. Но она как-то не удалась.— „Да что ж тут делать! Ведь это все измена! trahison!"—Ну а Мадзини был там?—„Нет! помилуйте! Как же этакую драгоценную жизнь подвергать опасности?"

А! понимаю: т.-е. я теперь понимаю, что в подобных случаях Мадзини всегда как-то удачно умел оставаться в стороне, а между тем многие прекрасные юноши из-за него легли костьми, как говорится в Полку Игореве.

Этот Савойский поход кончился самым позорным образом. Несколько сардинских таможенных карабинеров разогнали всю эту шайку или армию под предводительством генерала Ромарино, а сам Ромарино удалился с честию, не забывши однако ж взять с собою казенного ящика для большей предосторожности[2].

Так началось мое знакомство с г. Банделье, имевшее важное влияние на мои последующие поступки.

Я тотчас же перебрался в так называемый пансион у г. Артера, музыкального учителя (Musiklehrer). Это был старый, престарелый дом. На норманской арке над дверью было вырезано число: 1592. Каков старик?

Швейцарией и направило к ее границам войска, после чего швейцарское правительство принуждено было удовлетворить французские требования. Разоблачение Консейля имело место в августе 1836 г., весь же дипломатический инцидент был ликвидирован только в ноябре того же года.

[1] С чем вас и поздравляю!

[2] Савойская экспедиция,—предпринятая революционной организацией „Молодая Италия" под руководством Мадзини попытка вторгнуться в пределы Италии с целью поднять в ней восстание против австрийского владычества. Революционный отряд, составленный из итальянских, польских и французских эмигрантов, под военной командой генерала Ромарино, должен был вторгнуться в Пьемонт с территории Швейцарии 1 февраля 1834 г.; в этот же день выпущено было от имени Временного правительства воззвание с призывом к восстанию под лозунгом республики. Малочисленность прибывших к назначенному времени военных сил повстанцев и неорганизованность руководства сорвали эту революционную попытку на первых же шагах. Она послужила предлогом для усиления преследования сторонников Мадзини по всей Европе и привела к острой полемике между руководителями экспедиции, в частности, к обвинению в измене генерала Ромарино. Отголоском этих взаимных обвинений и являются слова Печерина. Ромарино (1792—1849)—итальянец, сражавшийся с 1809—1815 гг. в войсках Наполеона I, участник итальянского конституционного движения 20-х гг., после поражения которого жил в эмиграции во Франции. Когда в Польше вспыхнуло восстание, Ромарино вступил в 1831 г. в польские войска и выделился своей энергией в руководстве военными действиями революционных войск. Он отказался сложить оружие после падения Варшавы и руководил героическим отступлением польских войск в Галицию. После полемики, возбужденной его неудачным руководством Савойской экспедицией, Ромарино появился на политической арене лишь в 1848 г., вступив в итальянские войска во время войны с Австрией; после поражения итальянцев при Наварре 23 марта 1849 г. потеря сражения была приписана неправильным действиям Ромарино; он был обвинен в измене и расстрелян 22 мая 1849 г.

Почти три месяца я жил в этом доме, от конца декабря до половины марта,—сидел у моря и ждал погоды, т.-е. письма от тебя; да уж и начал отчаиваться: какая ж тут надежда, когда на мое письмо, отправленное в ноябре, не было ответа до марта месяца. Моим единственным приятелем был этот Банделье. Я у него проводил каждый вечер. Он жил по-республикански, т.-е. с какою-то женщиною. У ней, как говорится, не было ни кожи, ни рожи, даже она была крива на один глаз; mais cela n'empêche pas le sentiment [1]; да к тому же давно уже известно, что любовь слепа, а особенно любовь республиканская. Эта девка была нечто в роде тех знаменитых гризеток, воспеваемых Жорж Зандом. Банделье жил у нее на содержании, т.-е. она кормила его своими трудами, шитьем, мытьем да катаньем. Ты можешь себе вообразить, какие это были беседы: тут не надобно было ожидать ни ума, ни грации: тут просто был обыкновенный республиканский жаргон, распущенность и неряшество.

Под конец нашего знакомства Банделье признался мне, что он был священником в кантоне Валэ (Valais). Ему, казалось, было стыдно в этом сознаться: он приводил тысячу разных извинений. „Войдите в положение нашего брата", говорил он: „священник идет в исповедню (confessional), к нему приходит на исповедь молодая женщина, и напрямик объявляет ему, что она до смерти в него влюблена; ну как же молодому человеку устоять против этаких искушений?"— Помилуйте, да зачем же вам в этом извиняться? Ведь это общий удел человечества—это древняя история: Адам ссылается на Еву, а Ева сбрасывает вину на змия; а матушка-природа исподтишка хохочет над ними. Ведь какие мы выкидываем штуки! Сочиняем целые Илиады—Троя сгорает до тла, Клитемнестра убивает Агамемнона—ужасные трагедии разыгрываются в царственных домах—целые государства ставятся вверх дном, а все из-за чего?—да просто для того, чтоб исполнить закон распложения пород (propagation des espèces). Природа действует по иезуитскому правилу: la fin justfie les moyens [2]. Ей все нипочем, лишь бы достигнуть своей цели. Мы после и плачем и мечемся как угорелые кошки и деремся до крови, а ей что за дело? Она думает только об исполнении своих планов. Ей-богу, природа хитра, даже хитрее самого Бисмарка!

Не так равнодушно смотрел на вещи другой мой знакомый, молодой бонапартист с черными усиками: он, кажется, был ревностный католик и с ужасным негодованием говорил о Банделье: „Я удивляюсь, как земля не разверзнется и не поглотит этого святотатственного иерея (prêtre sacrilège)!

[1] Но это не мешает чувству.
[2] Цель оправдывает средства.

Я не понимаю, как его могли принять в масонскую ложу: cela doit être une mauvaise plaisanterie"[1].

Я вовсе не разделял этого фанатизма.

Три месяца я жил в пансионе г. Артера. У меня были прекрасные две комнатки и отличный стол, и во все это время хозяин ни разу даже не намекнул о деньгах: значит он имел ко мне большое доверие. Но я уж совсем было отчаялся получить что-либо из России. Вдруг в одно прекрасное утро хозяин входит в мою комнату и подает мне пакет: вижу—знакомая печать и почерк товарища; развертываю, а тут и письмо с векселем на 500 с чем-то франков. Ах! какое блаженство! это была упоительная минута! это было воскресение из мертвых! Я тотчас потребовал счет у хозяина и расплатился с ним до последней копейки; и решился не теряя времени немедленно ехать в Париж. Париж был моею путеводною звездою, конечною целью всех моих надежд и желаний, Меккою и Мединою правоверных. Еще в Лугано я мечтал об этой поездке. Вы непременно хотите ехать в новые Афины (moderns Athènes), говорил мне улыбаясь Грalленцони, а президент республики Лувини обещал дать письмо к принцессе Бельджиойозо (Belgioioso) покровительнице всех итальянских выходцев[2].

Я тотчас же написал к французскому посланнику в Берн, чтобы просить у него паспорт. Между тем я размышлял с самим собою: „Зайду к Банделье, но не скажу ему ни слова о получении денег: ведь мне невозможно ему помочь, для самого едва достанет, а рубашка ближе кафтана".—Это было очень благоразумно и по всем правилам здравого смысла. Подхожу к квартире Банделье и вижу—тут какая-то суматоха, бегают из угла в угол. Сам Бенделье выходит мне навстречу с растрепанным видом: „Не тревожьтесь,—говорил он,—со мною случилась неприятность: c'est une saisie, это захват моих вещей за долги". Это известие поразило меня как громом и поставило вверх дном все мои благие намерения. В несколько секунд моя совесть сделала мне силлогизм или целую диссертацию. „Ну как же это? Он был твоим приятелем; ты по целым вечерам сидел у него в продолжение трех месяцев; он был твоим единственным товарищем в твоем одиночестве! А теперь, когда он в нужде, а у тебя деньги, ты ему не поможешь, ведь это будет подло!" Сказано—сделано.

---

[1] Это, должно быть, плохая шутка.

[2] Бельджиойозо (1808—1871)—итальянская писательница, публицистка и политическая деятельница, участница итальянского национального освободительного движения. С 1830 г., после поражения конституционного движения в Пьемонте, она жила в эмиграции в Париже, развивая энергичную литературно-политическую деятельность в пользу освобождения и объединения Италии и оказывая материальную поддержку национальному движению в Италии.

— „Не беспокойтесь, любезный Банделье: я получил деньги из дому, и я за вас заплачу".

— Ах боже мой! какое счастие!—воскликнул он, всплеснувши руками: ведь вы падаете с неба, как будто какой-нибудь американский дядя в водевиле!

Я позвал хозяина и, забывши его республиканское достоинство, разругал его как русский барин.

— „На что ж это похоже? Как вы смеете так поступать с моим приятелем? Вас бы за это следовало порядочно отодрать. Вот вам деньги: я за все плачу да убирайтесь себе к чорту!"

Ха ха ха! а у самого ни копейки за душою! да и самые последние деньги из России получил! Нет! уж это решительно из рук вон!

Мне пришлось заплатить больше, чем я предполагал, т.-е. около 150 франков.

Банделье предложил дать мне записку.—„Помилуйте! да на что же это?"—„Нет! нет! этак лучше; вы знаете, мы все под богом ходим; все может случиться с человеком, on peut tourner l'oeil, А у меня есть тетка в Валэ: я к ней напишу; она мне пришлет денег и я вам заплачу".—Очень хорошо, я взял расписку и, как Митрофанушка, поверил в существование этой мифической тетки.

Если бы у меня оставалась еще хоть капля здравого смысла, мне бы следовало тотчас же по живу по здорову выбраться из Цюриха. Я бы оставил город с честью без копейки долгу и с огромною репутациею. Слух о моем поступке разнесся по городу: меня провозгласили богачем, русским князем, и немцы (выходцы) сильно подозревали, что я—русский шпион. Вот сколько репутаций! любую выбирай! Хозяин действительно ухаживал за мною как за принцем—кредит мой был неограниченный!—Но тут опять лукавый попутал меня: „С какой же стати мне терять каких-нибудь 150 франков. Они мне очень пригодятся. Ведь Банделье обещал заплатить, когда получит от тетки. Так уж лучше подождать!" И я остался ждать—и жду до сих пор.

Блажен кто верует! тепло тому на свете! Но вера вере рознь—как же веровать в такую мифологию? Даже пятилетний ребенок мог бы понять значение этой тетки.

Между тем мои сношения с Банделье совершенно изменились: он видел во мне уже не бедного брата-республиканца, а богатого человека, дающего деньги взаймы и ожидающего их уплаты. Он перебрался на другую квартиру в каком-то глухом и очень подозрительном закоулке: тут не только что продавали вино, но даже там были какие-то уж слишком раскрашенные девушки... Но—honny soit, qui mal y pense! [1] Caritas cooperit multitudinem peccatorum, т.-е.

[1] Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.

в вольном переводе это значит: республика своею эгидою прикрывает тьму прегрешений. Впрочем, я был там всего один раз, и то для того, чтоб осведомиться о здоровье тетки.

Через несколько дней Бандельe совершенно исчез из Цюриха и пропал неизвестно где, оставив по себе свою любезную Милитрису Кирбитьевну. Она гуляла одна с крошечною моською на цепочке. Иногда мне хотелось бы остановить ее да спросить, как поживает г. Бандельe и нет ли каких известий от тетки. Но она, завидевши меня издалека, тотчас ускользала в какой-нибудь переулок, и скрывалась в двери какого-нибудь дома, так что мне приходилось видеть только хвост ее моськи. Итак я остался в Цюрихе, оселся и погряз в бездонное болото. Деньги истратил и начал делать новые долги. Надобно было серьезно подумать о том, как жить. Для того, чтоб давать уроки, надлежало испросить позволения у правительства (это в вольной республике!!), а правительство поручило профессору Орелли проэкзаменовать меня... Он дал мне переводить страницу из Платона и снабдил меня хорошим свидетельством.

Когда я рассказал это моим итальянским приятелям, они расхохотались: „Помилуйте! да к чему же все эти церемонии? Вам бы просто пригласить профессора Орелли в кофейню Баура да попотчивать его бутылкою вина; он бы вам дал свидетельство без малейшего экзамена“. Вот опять разочарование! Я думал, что в свободной республике взяток не берут ни деньгами, ни натурою, а выходит иначе. Да нет! уж кажется взятки—в самой природе человека. Некоторые люди ограниченного ума удивляются, что есть такое сочувствие между Россиею и Соединенными Штатами: ведь кажется образ правления совершенно различный.—Помилуйте! есть коренное сходство между этими двумя странами: в обеих берут взятки,—рука руку моет. Но только что Россия ужасно отстала. Где же нашим бедным взяточникам, оклеветанным Гоголем, тягаться с американскими взяточниками? Там почтенные сенаторы торгуют своими голосами в Народном Собрании, гуртом продают их за огромные суммы. Где же нам?

Фурдрен—Лекуант—Потоцкий.

Madame Veto avait promis
D'incendier tout Paris:
Mais le coup a manqué
Grâce à nos cannoniers! Et gai, gai!
Dansons la carmagnole! [1]

Густым басом и с отчаянным видом—густобородый и с целым лесом волос на голове—в красной рубашке—красный

[1] Куплет из французской революционной песни „Карманьола“; буквальный перевод: „Мадам Вето (т.-е. королева Мария-Антуанета) обещала сжечь весь Париж, но заговор не удался благодаря нашим пушкарям! Гэй, гэй! Станцуем карманьолу“.

из красных, задушевный приятель мой Auguste Fourdrin распевал эту песенку каждый раз, когда со вздохом он вспоминал о славных днях первой революции. Под этою львиною наружностью крылась детски-незлобная, благородная, возвышенная душа. Он был в полном смысле литератор: он преподавал французскую грамматику и написал несколько драм или трагедий александрийскими стихами. В них не много было поэзии; но они служили ему проводниками его социальных идей. Героями этих драм большею частью были добродетельные люди, непризнанные и оклеветанные обществом, т. е. каторжники: их в моду пустила Жорж Занд. Сам Фурдрен рассказывал мне, что она одного из них взяла себе в прислуги и оказывала ему большое доверие и благосклонность. Нечего сказать! О вкусах спорить нельзя. Но все ж таки я думаю, что она денег плохо не клала и плотно запирала свою шкатулку.

К Фурдрену приехал в гости его брат из Парижа—артист-скульптор. Он был истый парижанин: ужасный вертопрах, но вместе с тем человек с отличным вкусом. Он указал Фурдрену на некоторые промахи в его драмах, происходящие от провинциальной жизни и незнания большого света: его замечания были очень метки и резки. Он же тут в Льеже показал нам образчик своего искусства: слепил прелестную карикатурную статуйку тогдашнего епископа льежского Ванбоммеля: выражение лицемерия на лице этого святоши было неподражаемо, а из-под хвоста его длинной мантии выползал целый рой монахов в рясах с широкополыми шляпами. После этого coup d'artiste [1] наш художник, выходя по вечерам, всегда запасался пистолетом и canne à épée [2]. „Надобно взять предосторожности", говорил он: „а то пожалуй чего доброго от этих фанатиков всего можно ожидать". У Фурдрена была служанка или ключница, gouvernante—довольно взрачная женщина; а у нее была маленькая дочь, дитя лет четырех или пяти. Эта малютка была как две капли воды похожа на самого Фурдрена. Меня доселе удивляет, что он никогда ни малейшего намека не сделал на эти сношения с ее матерью (если они в самом деле существовали). Во французском обществе—особенно в литературном мире—подобные связи вовсе не считаются предосудительными. Кто не знает Лизеты Беранже, которой он посвятил одну из прекраснейших и самых трогательных своих песен?

Vous viellirez, o ma belle maitresse!
Vous vieillirez, et je ne serai plus etc [3].

---

[1] Мастерского произведения.
[2] Палка со скрытой внутри шпагой.
[3] Ты отцветешь, подруга дорогая,
Ты отцветешь,—твой верный друг умрет...
(Из стих. La bonne vieille (Старушка), посвященного Беранже своей подруге; пер. В. С. Курочкина).

Кроме литературы, Фурдрен еще занимался физиологиею и анатомиею. Однажды он отворил передо мною шкап, где у него хранилось съестное, и что вы думаете я увидел? Голландский сыр или бутылку Бордо? Нет! а сохраненную в спирте голову молодой женщины со всеми свежими красками жизни, с длинными распущенными русыми волосами: она глядела как живая. Откуда взялась эта голова? Какая была ее история—простая или сложная? Была ли она связана с жизнью Фурдрена? не знаю—но знаю только, что это была одна из несчастных жертв разврата. Но эти длинные волосы напомнили мне другую историю из других времен.

В 1848 году я жил в одном из прелестнейших предместий Лондона—в Клапаме (Clapham). В то время католический священник был очень редкое явление в этом околотке. Иду я однажды по улице в самом уединенном квартале. Подходит ко мне какой-то господин. „Позвольте вас спросить: вы католический священник?“—Да вот как видите—отвечал я, указывая на мой белый галстук (прозванный римским ошейником, Roman collar). — „Сделайте милость, зайдите вот в этот домик: тут одна больная девушка очень желает вас видеть.“

Это был один из тех милых, уютных домиков, которыми обилуют лондонские предместья. Меня ввели в комнату в нижнем этаже (du rez de chaussée); тут был какой-то полусвет от тенистых деревьев в палисаднике. На столе лежала гитара и были разбросаны какие-то рисунки. Я сначала едва мог разглядеть, что в глубине комнаты на софе лежало милое дитя каких-нибудь 17 лет с длинными небрежно разбросанными русыми локонами, исхудавшая, бледная и с роковым румянцем на щеках. Она едва могла приподняться, чтобы приветствовать меня. С детскою простотою она рассказала мне всю свою историю. Эта история была очень, очень проста и не замысловата: она полюбила очень доверчиво и была обманута—вот и все! Пошла она однажды вечером на последнее свидание, долженствовавшее решить участь ее—прождала напрасно несколько часов под проливным дождем, промочила себе ноги, — а тут как раз нагрянула чахотка, да и какая еще? галопирующая! Теперь она лежала на своем смертном одре без жалобы, без ропота, без упрека, с христианским раскаянием и любовью, но вместе с тем с непобедимою надеждою на выздоровление—это общий признак чахоточных. Она жила у женатого брата, артиста, работавшего для какого-то иллюстрированного журнала. Брат и свояченица ухаживали за нею со всею нежностью родственной привязанности. Надеясь против всякой надежды, или может быть для того, чтобы утешить ее, они перевезли ее в деревню за несколько миль от Лондона и в одно прекрасное утро пригласили меня ехать с ними навестить ее.

„Ах, Dear Father“, сказала она, протягивая мне руку: как это мило с вашей стороны, что вы приехали навестить меня. Не правда ли, что я поправляюсь? Мне гораздо лучше! Какое это прекрасное место! Слышите ли, как птички поют в кустах? Синель распустилась под моим окном! Как мне здесь хорошо! Какой благорастворенный воздух! Это не то что в дымном Лондоне! Я чувствую, что я оживаю. Да! Может быть завтра же я встану с постели и выйду немножко в сад подышать свежим воздухом. Ах! как бог милостив ко мне! Когда я выздоровею—Dear Father, J vill be very, very good! [1] — Ну теперь прощайте, до свидания“, сказала она пожимая мне руку: „я может быть завтра же встану!“ Через три дня она умерла, и те же птички в кустах отпели ей панихиду и синель рассыпала свои лиловые цветы на ее свежую могилу.

Я забальзамировал ее в моей памяти и храню ее как драгоценную мумию прошедшего. Теперь, когда мы почти оглушены треском падающих империй, когда наши сочувствия парят так высоко и широко, да будет мне позволено смиренно сочувствовать этому бедному цветочку, растоптанному наглою стопою бесчувственннго дикаря!

* * *

Они меня любили... Ах! какое это слово! В нем заключается смертный приговор, осуждающий меня на ничтожество. — Великие люди, истинные благодетели человечества, никогда никого не любили и вовсе не заботились о том, любят ли их или ненавидят. Они, как могучие дровосеки, с секирами в руках, пробивали себе путь в чаще дремучего леса — беспощадно рубили направо и налево. Больно ли от этого деревьям или нет — какое им дело. Сколько миллионов живых существ погибло под их тяжелою стопою — об этом они не заботились. У них одно было на уме: „надо расчистить лес во что бы то ни стало.“ И вот их подвиг совершился: открылась обширная зеленая поляна, озаренная яркими лучами солнца. На этой поляне поселилось семейство — семейство выросло в село, село выросло в город, а город разросся в целое государство: миллионы людей благоденствуют под сенью мудрых законов, в полном блеске науки, искусства, промышленности и торговли. А все это от того, что первобытный дровосек никого и ничего не щадил. Его личность преображается во мгле столетий: он растет с каждым столетием, становится исполином, героем, богом: ему воздвигают алтари, курят фимиам... А так называемые добродетельные люди, чувствительные сердца, желающие любить и быть любимыми — они ни к чему не пригодны. От них, как от козла, ни шерсти ни молока; они как гуси Крылова, лишь годны на жаркое.

[1] Дорогой отец, я буду очень, очень хорошая.

Глас народа — глас божий, — говорит старая поговорка. Она, как ты знаешь, поставлена во главе той знаменитой грамоты, которою Михаил Романов избран на престол. — Ну что ж гласит этот божий глас? Что иного обожают народы? Истинный ли талант? высокую ли добродетель? — Нет! они обожают силу и ей одной поклоняются. Никто не выразил этого лучше, как Барбье в своих бессмертных Ямбах (Jambes):

... Le peuple c'est la fille de taverne,
La fille buvant du vin bleu,
Qui veut dans son amant un bras qui
la gouverne,
Un corps de fer, un oeuil de feu,
Et qui, dans son taudis, sur sa couche
de paille,
N'a d'amour chaud et libertin,
Que pour l'homme hardi qui la
bat et la fouaille,
Depuis le soir jusqu'au matin [1].

Парижские коммунисты, сжегшие Тюильри и отель де-Виль, может быть, современем попадут в великие благодетели человечества. Ведь первые христиане также сжигали великолепные языческие храмы, разбивали в куски изящные статуи, образцовые произведения искусства. Образованный древний мир содрогался от ужаса и негодования при виде этих неистовств и прозвал христиан безбожниками, афеями; но все ж таки в конце концов христиане одолели. Вот так будет и с коммунистами. Они тоже могучие дровосеки: они прямо идут к цели. Надо же как-нибудь расчистить наш старый лес, наполненный всякой дрянью. Что сделали с Тюильри, могут сделать и с Ватиканом, и тогда уже мы навсегда отделаемся от этой старой рухляди; поляна будет окончательно расчищена.

Никто теперь не упрекает новгородцев за то, что они скатили в Волхов святой истукан Перуна: зачем же бранить коммунистов за то, что они низвергнули Вандомскую колонну?

---

[1] Барбье (1805 — 1882) — французский поэт, прославившийся сборником стихов „Ямбы“ (1831 г.), — мощной сатирой на буржуазный Париж, использующий в своих корыстных интересах страдание и борьбу народных масс. В 30-х и 40-х г.г. Б. был очень популярен и много переводился на русский язык. Печерин имеет в виду знаменитую сатиру Барбье „Идол“ (L'idole), направленную против Наполеона I и его культа, особенно процветавшего в эпоху господства восстановленных на троне Бурбонов. Строки, цитируемые Печериным, вызваны негодованием поэта против рабского терпения, с которым французский народ сносил и власть Наполеона и посмертный культ его личности. Печерин цитировал на память и, потому, с ошибками; мы восстановили точный текст. Вот его прозаический перевод: „Народ—это трактирная девка, которая ценит в любовнике властную руку, стальные мускулы и яростный взгляд. В убогой лачуге, на куче соломы, она дарит своей распутной любовью того, кто колотит ее день и ночь“. Ср. О. Барбье. „Ямбы и поэмы“ ред. М. П. Алексеева. 1922, стр. X.

„Мне очень бы хотелось познакомиться с греческим языком: не можете ли дать мне несколько уроков — хоть этак раза три в неделю?“ — сказал мне однажды Фурдрен. — „Конечно я от этого не прочь“, хотя и казалось мне немножко странным, что человеку лет за сорок вздумалось начать учиться по-гречески.

Он просил меня написать ему систему греческих спряжений, что я тут же сделал, sèance tenante [1]. Она показалась ему очень замысловатою. Наши уроки шли следующим образом. Я читал и переводил с грамматическим разбором разговоры Лукиана [2], а он с книгою в руках следил за мною и больше ничего не делал. Иногда бывало он зевает, а иногда и глаза закроет, как будто задремлет. „Странный способ изучить греческий язык!“ думал я про себя.

Тайна открылась гораздо позже: эти уроки были ничто иное, как любезная выдумка Фурдрена — давать мне пособие, не оскорбляя моего самолюбия. Признаюсь, в этом поступке я вижу геройский подвиг христианской любви. А Фурдрен был, как у нас говорят, фармазон и человек без веры! Вот так и выходит, что самаритянин лучше правоверного иудея!

Лекуант был милый юноша, единоверец Фурдрена т. е. отчаянный республиканец, заклятый враг католической церкви и всех церквей вообще, студент медицины, материалист с длинною бородою. У нас по вечерам, особенно по воскресеньям были философские беседы. Фурдрен и Лекуант держали сторону материализма, а я — или по духу противоречия или по природной наклонности, защищал мистицизм. При этом случае меня потчевали хорошим кофеем и сандвичами — тоже уловка Фурдрена, чтобы вознаградить недостаток моего слишком скромного обеда.

Потоцкий. Сижу я однажды у камина в гостинице Au coq; тут же подсел какой - то не помню француз или поляк, один из тех воинственных дружин, что за свободу сражались и в Польшу на кораблях ходили. „Я знаю здесь одного из ваших соотчичей“, сказал он. — „Кто ж это такой?“ — „Г-н Потоцкий. Хотите с ним познакомиться?“—„Без сомнения! Дайте же мне его адрес“.

Потоцкий был самый идеал польского шляхтича: долговязый, худощавый, бледный, белобрысый, с длинными повисшими усами, с физиономиею Костюшки [3] т. е. une espèce de

---

[1] Не сходя с места.

[2] Лукиан (125 — 190) — греческий философ-сатирик, в своих „Диалогах“ („Разговорах“) давший картину вырождения современного ему общества.

[3] Костюшко Фаддей (1768—1817) — вождь польского восстания 1794 г; сражался в армии Вашингтона в войне за независимость САСШ, затем принял участие в борьбе Польши против захватов Екатерины II; после поражения польских войск эмигрировал, подготовив восстание 1794 г. и руководил им, облеченный повстанцами диктаторской властью, был разбит

singe, как сказал Шатобриан [1]. В нем совершенно развилась славянская натура. Он, как и все поляки, получал от Бельгийского правительства один франк в день и этим довольствовался и решительно ничего не делал: или лежал развалившись на постели или бродил по городу. Ведь какой-нибудь англичанин, американец или даже немец пустился бы на разные хитрости, чтобы зашибить копейку и доставить себе более удобств или вообще чтоб иметь какое-нибудь занятие. Как же это ничего решительно не делать? Но такова уж славянская природа. С самого детства я слыхал пословицу: лень прежде нас родилась.

Есть нечто подобное в итальянском характере: мой цюрихский приятель Угони часто с особенным восторгом повторял: Il dolce far niente! il dolce far niente! [2] — Трудолюбие например Чижова [3] и ему подобных вовсе не православная русская привычка: это ересь, заимствованная от басурманского англосаксонского племени. Но есть дело хуже безделья.

Пришло в голову Потоцкому писать, т.-е. сочинять, да еще на каком-то польско-французском наречии. — Написал он целую тетрадищу — такая галиматья, что хоть святых вон неси. Сам он побоялся снести ее в редакцию Journal da Liège [4] и дал мне это поручение. Я нашел там полдюжину редакторов, сидевших на каком-то совещании. Я подал

русскими войсками, взят в плен и посажен в Петропавловскую крепость; освобожденный при восшествии на престол Павла I, К. уехал в Америку и в дальнейшем активной политической роли не играл.

[1] Шатобриан (1768—1848) — французский писатель и политический деятель, глава идейной реакции против философии и литературы XVIII века, автор распространенных романов и литературно-политических памфлетов в защиту средневековых идеалов; во время революции - эмигрант, затем служил Наполеону и Бурбонам и был признанным главой католической и роялистской реакции.

[2] Сладкое ничегонеделание! сладкое ничегонеделание!

[3] Чижов Федор Васильевич (1811 — 1877) — ближайший друг Печерина, его товарищ по университету. Окончив университет в 1832 г., до 1840 г. читал в нем лекции по математике; в 40-х гг. Чижов оставил преподавание в университете и сосредоточился на вопросах истории и истории литературы. В это время Чижов сблизился со славянофилами, совершил ряд путешествий по славянским землям и принял активное участие в ряде литературных предприятий славянофилов, в результате чего отсидел некоторое время в Петропавловской крепости и ему было запрещено жительство в Петербурге и Москве. С 1857 г. Чижов целиком отдался предпринимательской деятельности, издавал ряд журналов, посвященных вопросам промышленности и принимал активное участие в железно-дорожном строительстве и умер крупным железно-дорожным деятелем. До конца жизни Чижов не прерывал сношений с В. С. Печериным, а во время своих путешествий по Европе в 40-х годах посетил его в бельгийском монастыре. Чижову адресовано большинство писем Печерина, из которых и извлечена находящаяся перед читателем его автобиография. Чижову же принадлежит первая попытка опубликовать записки Печерина, не увенчавшаяся успехом вследствие сопротивления цензуры; ему удалось опубликовать лишь незначительные отрывки в „Русском Архиве“ за 1870 г.

[4] „Льежская газета“.

им тетрадь с оговоркою, что я вовсе не причастен к этому произведению, а что меня просто просили передать это им. Они взяли рукопись, и она там почила сном праведным и никогда божьего света не видела.

У Потоцкого была еще другая черта славянской или может быть преимущественно польской натуры: непомерное хвастовство. Через меня он познакомился с Фурдреном и Лекуантом и был приглашаем на наши философские беседы. Тут он начал рассказывать о Польше такие небылицы, что у меня просто уши вянули. По словам его—Польша благословенная Аркадия, страна патриархальной невинности и чистоты нравов. О невинности польских нравов я кое-что слыхал от наших офицеров, да и сам был на Волыни и Подолии. Но мне невозможно было ни слова сказать в опровержение этих нелепостей. Как меня ни уважали, но все ж таки мое свидетельство ничего не значило перед авторитетом Потоцкого: ведь он поляк! а в то время каждый поляк был украшен двойным золотым венцом (ореолом): воинской доблести и несчастия.

Фурдрен жил летом за городом за рекою. К нему надобно было переправляться на лодке. Мой роковой час пробил, и я отправился с ним проститься навсегда. Как все люди, живущие одним воображением на счет здравого смысла, я верил в приметы. Уж сколько раз я переезжал в этой лодке к Фурдрену и ничего особенного не замечал. Но на этот раз тут был какой-то музыкант с гитарою или арфою и во время переправы он пел следующее: Espérance! Confiance! Le refrain du pèlerin! [1]. Эти слова меня поразили. Они решительно были направлены ко мне. В эту минуту я был действительно пилигрим, паломник, шествовавший с верою и надеждою к святым местам, на новый подвиг в монастырь искупителя в Сен-трон.

Добрый Фурдрен, прощаясь со мною, прослезился. Он подозвал ту маленькую девочку, которая так на него была похожа, и сказал ей: „Поцелуйся с ним, душечка! ты долго, долго его не увидишь!" И теперь еще слезы выступают на глазах, когда вспомню об этом. И этих добрых людей я покинул для того, чтобы примкнуть к стану их заклятых врагов! Странное психо- и физиологическое явление!

Я немедленно приступлю к объяснению этого странного переворота в моей жизни. А покамест выписываю слова Огарева из предисловия к „Русской потаенной литературе" [2]: „Каким образом автор этой поэмы (Торжество смерти) погиб хуже всех смертей, постигших русских поэтов, погиб равно для науки и для жизни, погиб заживо, одевшись

[1] Надежда! Вера! Припев пилигрима!
[2] См. прим. на стр. № 87.

в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу?... Это остается тайной; тем не менее мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни? Как знать? Если внешнее чудо могло столкнуть его живого в гроб, то внутренняя сила может и вырвать из него. Покаяние не только христианская мысль, но необходимость для всего человечески-искреннего".

За эти последние слова душевно благодарю Огарева. Il n'a pas désespéré de la patrie [1].

Легенда о монахе и бесе.

(Из Четьи-Миней)

Tout se sait (*M-me de Mentenon*).
Nihil est opertum, quod non revelabitur, et occultum, quod non scietur (*Evang. Matth. Cap. 10, 26*) [2].

В некотором царстве, в некотором государстве, в те времена, когда везде уже развелись железные дороги для вящшего блага христианского мира, для распространения истинной веры и торговли, в лето от Р. Х. 185—,однажды под вечер большой поезд остановился на главной станции железной дороги в городе Л. Высыпала бездна народа, между прочим из одной кареты вышло довольно замечательное лицо: высокий, тучный, широкоплечий, брюхастый, краснощекий монах-миссионер, больше похожий на екатерининского гренадера, чем на умерщвленного плотию инока. Он был в партикулярном светском платье, т. е. говоря попросту, в демократическом сюртуке. Вышедши на платформу, он как-то осторожно повел глазами кругом и, заметив вдалеке извозчика, подозвал его к себе изгибом указательного перста. Извозчик тотчас подбежал: „Куда прикажете?"— „Послушай-ка, братец, сказал миссионер, нагнувшись и говоря почти на ухо в полголоса: „не можешь ли ты свезти меня к хорошенькой девушке... знаешь к этакой красотке, какой лучше в городе нет?!!"... Извозчик смышленно кивнул головою и, лукаво прищуря правый глаз, отвечал: „Ну уж свезти-то, барин, свезем, да еще к такой знатной, что только бароны да графы туда ходят! а на водку-то, чай, прибавка будет?"—„Разумеется, что будет: ты об этом уж не беспокойся; итак дело слажено подавай же карету".

---

[1] Он не отчаялся в своей стране.

[2] Все узнается. (Г-жа де Ментенон). Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и ничего скрытого, что не разоблачилось бы. (Евангелие Матвея, гл. 10, 26).

Карета подъехала и миссионер увесисто бухнул в нее, так что едва рессоры не лопнули под бременем его громадной особы. „Ну теперь погоняй по всем по трем“. Повезли его разными вавилонскими улицами и переулками и наконец в сумерки остановились в довольно уединенной улице перед небольшим домиком с зелеными ставнями... Таинственно постучались медным кольцом у зеленой двери.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата открыты в тьме ночной
Рукой предательства наемной [1].

Святого отца ввели в очень хорошо убранную комнату: тут был какой-то тяжелый запах муска, какое-то удушающее благовоние — обыкновенная примета известных домов. На круглом столе лампа под матовым колпаком разливала какой-то волшебный и соблазнительный полусвет. На красной софе сидела впух разряженная и немножко подкрашенная красотка. Миссионер раскланялся по-кавалергардски и начал подвозить разные турусы на колесах... Но к чему тут излишнее красноречие! Да и Крылов советует, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Итак он, не теряя времени, подсел к этой деве и, как муж духовный и истый артист, сразу предался эстетическому созерцанию пластической красоты. Разрушая постепенно одну за другою все ревнивые препоны, он зорким оком художника все исследовал, все осмотрел, все ощупал, все облобызал, но греха не учинил! Все испытал — и ничему не покорился! Как это умно и деликатно! Таким образом он ускользнул от цензуры церковной: перед церковью он чист; и бесу угодил, и бога не раздражил! Вот что значит быть умным человеком!

Насладившись вполне этим невинным созерцанием изящного, он встал, напечатлел последний поцелуй на полинявших устах красавицы и, как порядочный человек, честно и благородно расплатился с нею за ее пассивные труды. Вышел на крыльцо, как будто ни в чем не бывало, с важною осанкою и величаво уселся в карете, вынул четки и, перебирая их, начал размышлять о суете мира сего, яко преходит мир и вожделение его, и приготовляться к завтрашней проповеди...

А завтра-то было воскресенье. Погода как нарочно стояла прекрасная. Церковь битком набита. Женский пол, как обыкновенно, преобладал. Тут были и дамы в персидских шалях, шелках и бархатах, и бедные девушки в скромных ситцевых платьицах. Но и мужского пола было довольно, были господа в сюртуках из тонкого сукна и некоторые

[1] Из оды Пушкина „Вольность“.

джентльмены в изношенных сермягах; тут был весь евангельский люд: толпа бродяг, нищих, слепых, хромых, немых, чающих движения воды... В безмолвном ожидании все глаза устремлены на кафедру... Скоро ли он появится—этот знаменитый оратор? Громкая молва ему предшествовала. „От его громоносного красноречия,—говорила молва,—окаянные грешники трепетали, как осиновый лист, а чувствительные женщины истекали слезами".

Вот он! вот он наш старый знакомый! Подкрепившись предварительно бутылкою вина для большего куража, он вышел на сцену в орденской одежде, весь блестящий здравием и силою, яко исполин тещи путь. С самоуверенным видом он медленно обозрел все собрание, как генерал осматривает поле накануне битвы и казалось был доволен своим обзором.

Мы вовсе не намерены выписывать целиком его проповедь, сохранившуюся в летописях монастыря. По нашим понятиям из всех скучных и бесполезных вещей самая скучная и бесполезная есть проповедь. Довольно сказать, что красноречивое слово этого благочестивого миссионера было направлено против ужасного греха плоти, греха сластолюбия. „Ах, возлюбленные братия! Какой это ужасный грех! От него все бедствия на свете произошли. От него древний мир затоплен был волнами потопа; от него Содом и Гоморра сожжены огнем небесным; от него погибли Вавилон и Ниневия... Но что тут говорить о временах глубокой древности? Даже ныне, в нашем христианском мире—я с горестью должен сказать—ежедневно сотни, тысячи, миллионы душ низвергаются в геенну огненную. Ах, христиане! Как мы легкомысленны, как беспечны! Мы резвимся и пляшем на краю пламенной бездны. Я обращаюсь особенно к вам, молодые люди, молодые девицы! Вы знаете, что я говорю правду без всякого лицеприятия, говорю прямо, без обиняков. Слушайте ж, молодые девушки: не правда ли, что вы иногда это считаете милою шалостью, легким отпускным грехом—украдкой дать поцелуй молодому человеку?—Слушайте ж меня теперь: я торжественно объявляю вам именем бога и со всем авторитетом моего священного сана: этот поцелуй вовсе не шалость, не легкий отпускной грех—нет! Это смертный грех первой величины: за этот один поцелуй вы будете повергнуты в пламя геенны на вечные веки веков. Да что я говорю о поцелуе? Иногда одного взгляда достаточно, чтоб навеки погубить бессмертную душу по словам св. писания: аще воззрит на жену, вожделея ее... Ах, какое ослепление! За одну минуту чувственного наслаждения потерять бесконечное блаженство рая! за одну минуту этого скотского наслаждения подвергнуться вечным мукам в геенне огненной—насколько времени вы думаете? на несколько столетий? тысячелетий?

Нет! на бесконечные миллионы миллионов лет—пока бог и вечность существуют!—О, легкомыслие! о, безумие! я скажу теперь словами Иеремии пророка: „Кто даст очам моим потоки слез, да сяду и восплачусь о погибели дщерей моего народа!“ Проповедник видимо был тронут—слезы умиления блистали...

Жорж Занд.—Мишле.—Religion saintsimonienne.

Tous les chemins conduisent á Rome [1].
(Старая поговорка).

Viloà la femme évangelique! [2] — сказал мне молодой итальянец, указывая на портрет Жорж Занда в „Revue des deux mondes“ [3]. Это было в Цюрихском музеуме. Этот музеум был нечто в роде публичной библиотеки, где получались все газеты и журналы обоих полушарий и все насколько-нибудь замечательные новые книги. За 5 франков в месяц можно было вдоволь наслаждаться всеми этими сокровищами. Но так как там всегда было много людей читающих, делающих разные справки и выписки, то уставом этого заведения предписано было строгое молчание.

По случаю Жорж Занда мы как-то разговорились, сначала шопотом, потом в полголоса, а потом уж и очень громко. Почтенный пожилых лет господин подошел к нам и очень учтиво заметил, что здесь разговаривать не позволяется. Я нимало этим не обиделся: у меня настолько еще было здравого смысла, чтобы найти это очень естественным; но не так смотрел на вещи мой собеседник: он тут не сказал ни слова, мы оба замолкли: но на другое утро прихожу в кофейню и слышу новость—что мой итальянец послал картель, т. е. вызов на дуэль этому почтенному господину, одному из значительных граждан Цюриха. Можно ли вообразить себе что-нибудь этого глупее? Разумеется, из этого ничего не вышло, а только весь город смеялся над задорным юношею. Но не грустно ли думать, что доселе эти взбалмошные понятия господствуют на материке Европы? Дуэль, по моему мнению, есть чисто средневековое феодальное учреждение: два благородных рыцаря поссорились между собою: нельзя же им итти тягаться перед судом; ведь судья ниже их, он простолюдин, он vilain, а они благородные рыцари; да сверх того они, как военные люди, гражданским законам не подлежат и в грош их не ставят, а все дела между собою решают мечом; к этому присоединялось еще и суеверие. Не забудь, что первоначально поединок то же, что суд божий. „Мы вот этак подеремся, а потом уж сам бог

[1] Все дороги ведут в Рим.
[2] Вот евангельская женщина!
[3] „Обозрение двух миров“—парижский журнал.

решит, кто прав, кто виноват". Пуля виноватого найдет, как теперь говорят наши солдаты. Итак, в последней половине 19-го столетия мы все еще свято храним этот остаток безурядицы и изуверства средних веков... Но это не сказка, а только присказка, а сказка будет впереди. Это было в 1838 в Цюрихе, а Жорж Занд развилась у меня в Льеже в 1840. Итак, да здравствует 1840-ой год!

Жорж Занд! Какое имя! Какие звуки! Они затрагивают в душе моей давно отзвучавшую, онемевшую струну: но от их легкого эфирного прикосновения она снова трепещет и симпатично отзывается [1].

Святые отшельники Фиваиды, с воображением, разгоряченным уединением и молитвою, часто видели наяву спасителя, богоматерь, ангелов и нечистых духов: вот так и я в моей келье у мадам Жоарис, глядя в окно, осененное густыми деревьями, часто воображал себе, что вижу Жорж Занд: вот она проходит мимо окна в мужском платье в соломенной шляпе с широкими полями... Сколько раз я говорил самому

[1] Жорж Занд—литературный псевдоним французской романистки Авроры Дюпен-Дюдеван (1804—1876). Ее романы и повести, посвященны в начале ее деятельности протесту против неравноправного и угнетенного положения женщины в современном обществе, вскоре, под влиянием роста социалистических идей во Франции, приняли характер страстной проповеди социального освобождения угнетенных классов, стали проводниками того неопределенного „социализма", который господствовал в среде тогдашней радикальной интеллигенции. Художественная деятельность Жорж Занд оказала громадное влияние на рост социалистических идей в среде русской интеллигенции 40-х г.г.; об этом единодушно свидетельствуют показания Тургенева, Щедрина, Достоевского. Особенно характерны, в связи со строками Печерина, посвященными Ж. Занд, признания Достоевского: „Об огромном движении европейских литератур с самого начала 30-х гг. у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих ораторов, историков, трибунов, профессоров, даже хотя отчасти, хотя чуть-чуть, известно стало то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве, в романе, а главное—у Жорж Занд... Появилась же она на русском языке примерно в половине 30-х гг.... Я думаю, так же, как и меня, еще юношу, всех поразила тогда эта целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого, сдержанного тона рассказа... Я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд... заняла у нас чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг появившихся и прогремевших во всей Европе. Вдруг возникло новое слово и раздались новые надежды, явились люди, прямо возглашавшие, что дело [дело революции. *Л. К.*] остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надобно продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное... К половине 40-х гг. слава Ж. Занд и вера в силу ее гения стояли так высоко, что мы, современники ее, все ждали от нее чего-то несравненно большего в будущем, неслыханного еще нового слова, даже чего-нибудь разрешающего и окончательного". И. С. Тургенев писал: „Жорж Занд—одна из наших святых". Смутные социалистические стремления Ж. Занд, нашедшие выражение в ее романах, опираются на целиком идеалистические воззрения. Популярность и значение деятельности Ж. Занд пали после революций 1848 г., нанесших сокрушительный удар мечтательно-чувствительному интеллигентскому „социализму".

себе: „Дай пойду к ней в Nogent sur Aube[1]: попрошу ее взять меня себе в прислуги, как она взяла того каторжника"... Voilà de sublimes folies![2] Но из этих-то именно глупостей и составляется истая, неподдельная шекспировская поэзия жизни!

Странно сказать—не верится, а всеж-таки это сущая правда, что Жорж Занд имела решительное влияние на мой переход в католичество. Это требует объяснения.

Французская литература, несмотря на ее атеистическое направление, все еще сохраняет какой-то осадок или закваску католического мистицизма: от этого французы доселе никак отделаться не могут. Передовые мыслители тридцатых годов были: Пьер Леру[3] (Pierre Leroux), Мишле[4] (Michelet) и Ламене[5]. Несмотря на их новые идеи, у них все еще проглядывает мистицизм. Они избрали своею музою—Жорж Занд; ее тогдашние романы были вдохновенные поэмы, священные гимны, в коих она воспевала пришествие нового откровения. Там у ней по лесным полянам и

---

[1] Ножан на Обе—поместье, в котором жила Жорж Занд.

[2] Вот благородные фантазии.

[3] Пьер Леру (1797—1871)—французский публицист, республиканец и демократ с социалистическими тенденциями. Свою проповедь социализма Леру начал в качестве сенсимониста, но вскоре отделился от сенсимонистской общины и создал собственнию систему с сильным мистическим уклоном. Он пользовался широкой популярностью, оказал сильное влияние на направление художественных произведений Жорж Занд и был хорошо известен в России 40-х г.г. Леру принял активное участие в революции 1848 г., примкнув к крайней левой Учредительного собрания; после переворота Луи Бонапарта был изгнан из Франции и жил эмигрантом в Англии.

[4] Мишле (1798—1874)—французский историк и публицист, республиканец и демократ, автор ряда исторических и публицистических (в частности антиклерикальных) работ. Произведения М., будучи лишены серьезного научного значения, представляют страстную проповедь начал свободы и братства, воплощавшихся для Мишле в демократической республике. Мишле, типичный представитель мелко-буржуазного мировоззрения, был в 40-х гг. виднейшей и авторитетнейшей фигурой среди французской оппозиционной интеллигенции.

[5] Ламене (1782—1854) — французский публицист и политический деятель; начал свою общественную деятельность правоверным католиком и клерикалом-монархистом, но после революции 1830 г. выступил с проповедью демократической программы и обновления католицизма. В 1834 г. он выпустил книгу „Paroles d'un croyant" („Слова верующего"). Книга представляла красноречивую критику современного социального и политического строя с точки зрения демократически-истолковываемого христианства; она произвела громадное впечатление, была осуждена папой и привела к окончательному разрыву Ламене с католической церковью: он снял рясу и стал журналистом, сблизился с республиканцами и выступил с рядом остроумных памфлетов, в которых пытался соединить проповедь христианства с проповедью демократических идей и резкой критикой господства буржуазных клик. Будучи противником социализма и революционных методов действия, Ламене своей борьбой с папой и правительством июльской монархии содействовал широкому распространению революционных настроений в мелко-буржуазной среде.

скалам гуляют почтенные пустынники с длинными белоснежными бородами,—являются духи в образе прелестных юношей,—слышатся голоса из другого мира (как напр. в „Spiridion“ или „Les sept cordes de la lyre“, а все это с тою целью, чтобы низвести религию на степень прелестной мифологии (как это сделал Мейербер в опере: Robert le Diable [1] и вместе с тем доказать, что лучшие стороны религии: аскетизм, самоотвержение, любовь к ближнему могут развиться независимо от нее из чистого разума с помощью стоической философии.

Возьмем, напр., Мопра (Mauprat) [2]: сцена во Франции накануне революции в 1789. Главное лицо—простой мужик, грамотный и смышленый: он ни во что не верит, но ему удалось случайно прочесть Ручник Эпиктета [3] и из этого стоического философа он составил себе правила самого возвышенного аскетизма. Он живет в лесу в каком-то древесном дупле, питается кореньями и отвергает хлеб, потому что, говорит он, от хлеба все зло происходит: из-за куска хлеба люди продают себя. Пробил роковой час—настала революция: он выходит из своей пустыни и как вдохновенный пророк публично перед судом обличает пороки правительствующих лиц, дворянства и духовенства Его суровая аскетическая фигура очень рельефно выдается в сравнении с этими негодными монахами (траппистами), интригующими за одно с епископом, чтобы как-нибудь забрать себе в руки имение фамилии Мопра.

Тут я ужасно как сошелся с Жорж Зандом: я узнал самого себя. Лишь только я выучился по-латыни в Киевской гимназии, я нашел в библиотеке моего деда Симоновского Selectae Historiae, т. е. собрание анекдотов и изречений стоических философов. Я прочел ее от доски до доски, усвоил ее себе и из нее составил особенное нравственное уложение (code de morale) без малейшей связи с христианскою верою.

---

[1] „Роберт Дьявол“ опера знаменитого композитора Мейербера, впервые и с громадным успехом появнлась на сцене в Париже в 1831 г.; в основе ее лежит старинная легенда, рассказывающая о борьбе добрых и злых сил за душу человека.

[2] Все три упоминаемые Печериным произведения Ж. Занд—„Мопра“, „Спиридион“ и „Семь струн лиры“—появились в печати в 1837—1839 г.г. Они написаны в эпоху сильнейшего увлечения автора социально-религиозными идеями П. Леру и представляют фантастическую смесь освободительных идей с мистическими настроениями, связывавшими дело освобождения трудящихся от язв капиталистической цивилизации с проповедью „новой“, „очищенной“, „обновленной“ религии. Развращающее влияние этой проповеди Печерин целиком испытал на себе.

[3] *Эпиктет*—греческий философ конца I—начала II в.; словом *Ручник* Печерин переводит заглавие сборника моральных поучений Эпиктета, составленного его учеником,—„Руководство“. Эпиктет—крупнейший представитель стоической философии, проповедывавшей самоограничение, презрение к внешнему миру и безусловное подчинение мировому разуму или божеству, познание законов которого—единственный путь к счастью.

Я сделался в 16 лет стоическим философом. Еще хуже Онегина, я из Энеиды удержал только один стих: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! [1] Потом я приобрел стоическое правило sustine et abstine — терпи и воздерживайся, и отрывок из греческого оракула: „Терпи, лев, нестерпимое".

Я нарочно выписываю эти слова: они имели важное значение в моей жизни, они руководили мною и укрепляли меня в трудных обстоятельствах. А тогдашнее мое отношение к христианству можно видеть из следующих слов, записанных в моем дневнике в Новомиргороде: „Придет время, когда станут рыться в развалинах какой-нибудь христианской церкви и, найдя случайно крест, станут спрашивать с недоумением: что это значит? к чему служило это орудие?" Неправда ли? довольно смело для семнадцатилетнего мальчика.

Как у того французского мужика, у меня также была своя пустыня. В Липовце, где началось мое воспитание по Руссо, мы стояли на квартире в доме какого-то польского помещика; там был довольно обширный сад: где-то в самой чаще деревьев я прочистил себе уголок в виде беседки, поставил себе там скамеечку и вывесил над нею на большом листе белой бумаги крупными буквами надпись: Убежище мудрого (как это пахнет Руссо! La retraite du sage!). Туда я приходил читать Руссо и философствовать на просторе. Иногда на заре там пел соловей на веточке у самого входа беседки: он был такой смирный, что я подходил близко к нему и почти смотрел в его зажмуренные глаза во время его пения. Как это очаровательно!

Но на счастье прочно всяк надежду кинь:
К розе как нарочно привилась полынь.

В одно прекрасное майское утро, когда воздух был наполнен благоуханием цветов, а мой голосистый соловей пел еще голосистее и разливнее, подхожу к беседке, гляжу — о, ужас! — моя святыня осквернена! Какой-то мошенник — с позволения сказать — на...л [2] целую кучу по самой средине беседки. После этого разочарования я перестал посещать Убежище мудрого.

Хотелось бы мне, чтобы ты как-нибудь прочел Спиридиона (Spiridion) Жорж Занда: там ты найдешь историю моей монастырской жизни: я тогда еще ее предчувствовал. Некоторые книги лучше всякой ворожеи предвещают нам будущее. Но об этом после.

---

[1] Не уступай злу, но смелей иди против него (стих из „Энеиды" Вергилия). *Онегин*—герой романа Пушкина „Евгений Онегин", который

...помнил, хоть не без греха
Из Энеиды два стиха.

[2] Это выражение в лучшем классическом вкусе: оно часто встречается у Аристофана и пр. [Примечание В. Печерина].

Мишле (Michelet). Решительно участь жизни моей зависела от последней книжки, вышедшей из парижских тисков. Вышло Luther par Michelet. С восторженным красноречием автор живыми красками изображает возвышенный нравственный характер великого реформатора; но что всего более меня поразило, это было, что Лютер в библии нашел новую очищенную религию. „Вот этого мне и надо! этого я давно ищу! Ну что ж! Если Лютер мог найти чистую веру в библии, то почему ж и мне не попытаться? Но я не люблю делать вещи вполовину: ты мне подавай их целиком! Уж коли читать библию, то надо читать в еврейском подлиннике; а библия в переводе это — десятая вода на киселе".

Сказано — сделано. Отправился к букинисту, нашел библию себе по карману, т. е. просто еврейский текст без точек и без малейшего объяснения. Я принялся за работу с помощью английского перевода (Authorised version). Я предварительно ничего не знал кроме азбуки да и то пополам с грехом. Это конечно не самая легкая, но зато очень прочная метода. Когда впоследствии я добыл себе грамматику и словарь, то половина дела была уже сделана. Я сам по догадкам составил себе и грамматику и словарь. Нет ничего пагубнее так называемых легких метод... Methode facile pour apprendre la langue française en douze leçons!!! [1] О приобретении знания можно то же сказать, что о приобретении богатства: одно только то достояние прочно, которое приобретено личным, честным, тяжелым трудом. По новой системе Тиндаля [2], жар есть не что иное как движение, вот так же можно сказать, что знание и богатство есть не что иное как — труд. Я не на шутку взялся за библейское дело. Начал вставать в пятом или шестом часу и работал до 8-го часу: тут я с особенным удовольствием зажигал спиртовую лампу и варил себе кофе и с хлебом и маслом наслаждался своим завтраком, как самый утонченный эпикуреец. Потом, как известно, я отправлялся в свой департамент т. е. к капитану. Вот так-то я был завлечен в богословскую сферу — и кем же? — Мишле!

В библиотеке капитана было три тома Religion de Saint Simon [3]: я, как жадный волк напал на эту добычу, унес ее

---

[1] Легкий способ усвоить французский язык в двенадцать уроков.

[2] *Тиндаль* — английский физик, изложивший свое учение о тепле, как форме движения, в курсе лекций, изданных в 1863 г. Печерин после выхода из монастыря усиленно занимался естественными науками.

[3] Сен-Симон (1760 — 1825) — один из крупнейших социальных мыслителей начала XIX века; в его учении, оказавшем сильное влияние на выработку социалистической мысли, основное место занимает еще противопоставление феодального и буржуазного общества, но в своих планах общественного переустройства Сен-Симон уделяет, прежде всего, внимание организации „самого многочисленного и самого бедного класса", а в основу их кладет принцип труда, работы, производства ценностей. В сочинениях

к себе домой и проглотил все до чиста. Тут опять видно, что французы никак не могут отделаться от католицизма. Что такое сен-симонизм? Та же католическая церковь, только в новом виде. Верховный отец (le père) тот же непогрешимый пáпа, безотчетно управляющий душами и телами членов церкви: в руках его все сокровища земли: он распределяет работы и занятия, смотря по наклонностям и способностям каждого, и раздает награды, соображаясь с нуждами и заслугами каждого. Тут опять видна та неизлечимая любовь к крайней централизации и деспотизму, какою страждут французы.

В этой книге с особенною похвалою отзывались о сочинениях графа Иосифа де-Местра [1], особенно о его Soirées de St-Petersbourg, где он будто бы предсказывает появление новой религии, долженствующей пополнить и усовершить старую. Тут логически следовало, что мне непременно надобно прочитать эту книгу. Пошел на толкучий, нашел Soirées de St-Petersbourg и начал читать: вижу—добродетельный, благочестиво-напыщенный с тремя восклицаниями!!! слог. Мне стало стыдно. „Неужели, думал я, я так низко упал, что читаю подобные вещи? Но что ж делать? Ведь надо же следовать внушениям моего евангелия, т. е. Religion de St-Simon". Как бишь это говорит пословица? сживется — слюбится. Вот так и я сжился и слюбился с Иосифом де-Местром, привык к его слогу и идеям. Шербюлье (Cherbulliez) [2] очень хорошо сказал: „Заприте человека одного в комнате на неделю или на две и заставьте его несколько раз в день повторять: „бог есть бог, а Магомет его пророк!" В конце концов он не в шутку поверит в Магомета!" А вот теперь мое мнение о графе де-Местре:

С.-Симона Энгельс констатирует „гениальную широту взглядов", позволившую ему „уловить зародыши почти всех новейших социалистических идей". Благодаря этому Сен-Симон занял место среди трех великих социалистов-утопистов начала XIX века. В деятельности его учеников и, в частности, Анфантена, особенное развитие получили религиозно-утопические элементы его учения. Под именем трех томов „Религии Сен-Симона" Печерин, повидимому, разумеет три тома сборника статей, напечатанных предварительно в сен-симонистском журнале „Le globe", носившем подзаголовок „Орган сен-симонистской религии". Эти сборники вышли в 1830—1832 г.г.

[1] Де-Местр (1754—1821)—французский публицист и пьемонтский дипломат; один из самых выдающихся апологетов феодальной реакции начала XIX века; он прожил 15 лет (1802—1817) в Петербурге и написал здесь ряд произведений, представляющих непревзойденный образец монархо-католической контр-революционной публицистики. В своих произведениях, рядом с апологией „божественной" власти папы он создал апофеоз палача, как выполнителя „божьего дела на земле". Герцен называл его „кровавым террористом католицизма".

[2] Виктор Шербюлье (1829—1899)—французский журналист и беллетрист, сотрудник распространенного французского журнала „Revue des deux Mondes" („Обозрение двух миров").

он наглый и бессовестный фанатик, прикрывающий политические виды мантиею религии, заклятый враг всякой свободы, ярый поборник самого крайнего деспотизма, направляемого свыше непогрешимым папою... а главным исполнителем непреложных велений и верховным жрецом этого государства-церкви у него будет—кто вы думаете?—Палач! Не понимаю, как могли его провозгласить гениальным писателем. Слог его тяжелый и напыщенный, он бросает пыль в глаза своею мишурною ученостью или начитанностью.—Это просто ослепление, дух партии.

Вот этот-то самый граф де-Местр обратил в католичество нашу Свечину [1], столь известную в Париже и почти причисленную к лику святых.

Я был у нее в 1844. Она приняла меня avec toute la hauteur d'une grande dame [2].

Да и правду сказать, я дал ужасного промаху. Я вовсе не знал ее сношений с Лакордером, не знал, что она была его покровительницею, обожательницею, матерью (mère de Lacordaire) [3]. Я пришел к ней прямо из Notre Dame после проповеди, да так спроста и брякнул, что, по моему мнению, проповедь Лакордера сбивается больше на лихую журнальную статью (magnifique article de journal), чем на „христианское слово". А перед этим я был у княгини Любомирской, которая приняла меня очень просто, мило, радушно и откровенно мне призналась, что ездит слушать Лакордера потому, что он в моде, а для себя предпочитает проповедь приходского священника. Вот я и это замечание повторил перед Свечиной. Могло ли что-либо быть глупее? Она непременно должна была принять меня за ужасного невежду. Мне как-то не везет с этими аристократками...

А о Лакордере мое мнение осталось тем же. Чтобы не шутя, серьезно приняться доказывать совершенное согласие науки с религиею (harmonie de la sceince et de la révélation) для этого надо быть просто фокусником, каким Лакордер действительно и был. Вообще я терпеть не могу так называемых

---

[1] Свечина София Петровна (1782—1859)—русская аристократка, перешедшая под влиянием Де-Местра в католицизм. Поселившись в 1817 г. в Париже, она создала вокруг себя центр клерикальной и иезуитской пропаганды; ханжество, католический фанатизм, а также большие средства, которыми она поддерживала католическую пропаганду, создали ей в среде руководителей католицизма большую популярность; вожди воинствующего католицизма были ее ближайшими друзьями; она была, между прочим, ближайшей покровительницей знаменитого французского католического проповедника Лакордера.

[2] С высокомерием дамы большого света.

[3] Лакордер (1802—1861)—французский церковный проповедник; считается „величайшим католическим оратором XIX в."; с католической проповедью Лакордер сочетал ловкую политическую пропаганду в духе умеренного либерализма и был очень популярен в кругах французской буржуазии.

ложных родов (faux genres) в литературе: к этим ложным родам я причисляю: дидактическую поэзию и проповеди Лакордера, Гиасинта, Феликса [1] и tutti quanti—а в заключение скажу, что истинно образцовыми проповедями я считаю—Беседы Иоанна Златоуста. Следовательно, тут вся Россия будет на моей стороне.

Страх России—роман жизни.

«Rêvérend Petcherine!...... и этот грех лежит на Николае!"—Вот что сказал Герцен, услышавши в первый раз обо мне в Лондоне. Я стараюсь теперь размотать запутанные нити разнообразных причин, побудивших меня принять католичество или лучше сказать искать убежища от бури под кровом католического монастыря.

Одною из этих причин был непомерный страх России или скорее страх от Николая. Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать—чума никого не щадит—особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером, я бы непременно сделался подлейшим верноподанным чиновником или—попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство.

Может быть мне возразят, что все ж таки впоследствии я сам добровольно принял на себя новые вериги (слова Герцена): тут нет никакого противоречия. Вериги добровольно на себя взятые могут также добровольно быть и сложены. Человек в полноте своей свободы может промотаться, спиться с кругу, но после с энергиею той же свободной воли может протрезвиться и снова начать разумную жизнь. Это не то, что быть запертым в клетке и бесплодно биться о ее железные решетки.

В 1840 меня позвали в полицию в Льеже, просто для формы, для того, чтобы справиться, давно ли я проживаю в городе и чем занимаюсь, и это не имело никаких дальнейших последствий. Но оно заставило меня задуматься. „Ну, что как в России проведают, где я, да еще пожалуй вытребуют назад? Ведь это из всех ужасов будет самый ужаснейший!"

---

[1] Гиасинт (1827—1897)—католический монах, привлекший внимание своими проповедями в парижском соборе; после провозглашения догмата о непогрешимости папы, Г. оказался в оппозиции к папской власти и стал одним из вождей старо-католического движения.—Феликс (1810—1891)—знаменитый католический проповедник, иезуит, с 1853 г. проповедывавший в парижском соборе; он пытался доказать совместимость прогресса с верностью католической религии, но после провозглашения во Франции республики, выступил ее решительным противником.

Это опасение было не совсем без основания. После твоего второго посещения в Виттеме в 1844 г., у нас в монастыре получили какую-то бумагу из русского посольства в Гааге, на которую наши довольно резко отвечали. Я ни того ни другого документа не видал, но предполагаю, что именно вследствие этой переписки меня поспешили отправить в Англию (31 декабря 1844); за это я душевно благодарен редемптористам, как за величайшее мне оказанное благодеяние.

Мои последние сношения с русским правительством были уже в Англии в 1846, т. е. ровно через десять лет после выезда из России. Это было в Фальмуте (Falmouth) в графстве Корнуальском (Cornwale), известном своими медными и оловянными рудами. Фальмут, небольшой городок, (5000) лежит полумесяцем на берегу залива Falmouth bay в самом крайнем юго-западном углу Англии недалеко от так называемого конца земли, Landsend. Этот залив замкнут двумя черными скалами: на одной из них стоит старый замок Pendennis, ныне обращенный в казарму. На другом конце города на высокой террасе стоял наш маленький домик с церковью или каплицею (Catholic chapel), над самым морем, так что иногда сидишь у окна, а тут под самым окном колышется на волнах какое-нибудь судно с белым парусом, так близко, что, кажется, мог бы достать рукою.

Это была просто миссия. Нас всего было трое: настоятель, бельгиец Père de Buggenoms, я и брат-прислужка (frère lai) француз frère Felicien. Все стены на нашем маленьком дворе были покрыты зеленым плющем, тут также был колодезь с колесом и железною цепью. Перед домом был палисадник с цветами. Немножко повыше на той же террасе в довольно красивом доме жила наша благодетельница г-жа Эдгар (mis Edgar), новообращенная в католичество шотландская дама, вдова с двумя дочерьми-невестами. Она нарочно поселилась в Фальмуте для того, чтобы там поддерживать католическую веру. Это была литературная семья. Сама г-жа Эдгар помещала оригинальные и переводные статьи в Catholic Magazine, младшая дочь Каролина написала не помню какой роман, а старшая—но об ней после... Обе девицы были большие музыкантши, играли и пели в нашей церкви. Я часто ездил гулять за город с этими дамами.

Мне случилось однажды сидеть одному в кабриолете с меньшею дочерью. Другой экипаж ехал перед нами. Не забудь, что мне было тогда 38 лет. Каролина была милая девушка лет 20-ти с русыми локонами и голубыми глазами. Мы вместе восхищались прелестным местоположением. Сверкающее море, холмы и долины, рощи и луга—все было облито ярким светом летнего дня. „Как мне знаком этот пейзаж,—сказал я,—мне кажется, я видел его где-то давно, давно—во сне или на яву, не знаю, но все это мне ужасно как

знакомо: эти дубы и вязы, обвитые плющем, эти деревья, круто согнутые в одну сторону по направлению морского ветра, эти красивые домики с живыми заборами и розовыми кустами, даже эти красные коровы, все это я видел где-то и когда-то, да, все и“—едва едва не прибавил—„и эту милую англичанку, сидящую возле меня“. „Да, теперь помню: я видел все это в романах Стерна, Гольдсмита, Вальтер Скотта, в английских эстампах... С самого детства я люблю Англию. Посреди русских степей в долгие зимние вечера я сидел и мечтал над картою Англии, следил за всеми изгибами ее берегов, внимательно рассматривал все эти разноцветные ширы, города, реки, бухты, заливы и душа неслась туда, туда, в неведомую даль... И вот мечта моя осуществилась и то, что мне грезилось во сне, теперь я вижу на яву!“

— „Итак вы любите Англию?“ сказала она улыбаясь.

— „Как же не любить ее?“—отвечал я с юношеским восторгом: „тут все прекрасно, и небо, и земля, и люди, особенно люди“, прибавил я, глядя на нее.

— „Вам должно быть очень приятно видеть ваш идеал осуществленным?“ сказала она.

Мы поехали осматривать большой дом, который они намеревались нанять. Тут была большая зала с темными дубовыми панелями и огромными зеркалами. Каролина остановилась перед зеркалом, отдернула свой зеленый вуаль, посмотрелась в него и потом, улыбаясь с каким-то невинным кокетством, обернулась ко мне как-будто спрашивая: „не правда ли, что я хороша?“. Эта прогулка нас очень сблизила. Мы расстались с более обыкновенного жарким пожатием руки. Но роман этот далее не простирался. У нас был ангел хранитель с огненным мечом, т. е. священное чувство долга, и все эти розовые мечты рассеялись и исчезли после вечерней молитвы.

Г-жа Эдгар выезжала каждый день, но одна из этих прогулок кончилась очень неприятным образом. Она выехала в колясочке с меньшею дочерью. Лошади чего-то испугались, понесли, опрокинули коляску, и г-жа Эдгар переломила себе ногу, а ее любимая собаченка тут же сразу была убита. Ее привезли домой в ужасных страданиях. Послали за доктором Бучером. Тут не было ничего опасного, но лечение было продолжительное и после этого она осталась калекою до конца своей жизни. С тех пор я начал посещать их каждый день. Мы завели чтение у постели больной, частью для развлечения ее, а частью на мой бенефис, для того, чтобы поправить недостатки моего английского произношения. Эти чтения сделались особенно занимательными, когда старшая дочь выступила на сцену...

Анна Гамильтон Эдгар была девушка лет 25-ти, не то чтобы красавица, но очень приятной наружности, высокая,

стройная; она была ужасная охотница ездить верхом: как теперь вижу, она входит в гостиную с хлыстиком в руках. Она начала писать роман под заглавием: John Bull et the papists [1], основанный на религиозной контроверсе, бывшей тогда в большой моде. Она каждый день читала нам или лучше сказать мне (как своему критику) по нескольку страниц. Некоторые патетические места были так мастерски написаны, что я никак не мог удержаться от слез. Эти невольные слезы были самою лестною данью авторскому самолюбию. Это, кажется, подзадорило ее маменьку. Она тоже вызвалась прочесть свое произведение—просто перевод с французского,—какую-то повесть. Но с самых первых страниц я ей заметил, что это очень вяло,—просто французские фразы,—больше слов, чем дела. Она хладнокровно свернула тетрадь и положила ее под подушку, и после об ней и помину не было. Вероятно французская дама очень бы этим оскорбилась, но в Англии воспитаиие совсем другого рода: г-жа Эдгар приняла это очень добродушно, и великодушно уступила поле битвы своей даровитой дочери. Наконец мы кончили и напечатали наш роман и имели удовольствие прочесть лестные о нем отзывы в некоторых журналах. Окончивши этот литературный роман, мисс Анна Гамильтон Эдгар принялась за другой, но на этот раз реальный роман действительной жизни.

Прекрасный молодой человек, адвокат из соседнего города Гельстона (10 миль от Фальмута) встретился с нею где-то в обществе, влюбился в нее и—частью из убеждения, частью из любви к ней, принял католическую веру. Я был что называется в классических трагедиях наперсником всех таинств их взаимной любви. Тут не было никаких затруднений: они были совершенно равны по летам, состоянию и положению в обществе, итак — коротко ли, долго ли—мне наконец пришлось их обвенчать. Это было прекрасное майское утро—Май природы и Май жизни. Наша маленькая церковь была разукрашена гирляндами благоуханных цветов, увешана голубыми и розовыми тканями—как и следовало для такого великого празднества: des Lebens schönste Feier [2], как говорит Шиллер. Г-жа Эдгар была очень значительное лицо в этом городке, итак собралась толпа поглядеть на невиданное дотоле зрелище—католическую свадьбу. Впереди всех у самого алтаря, с важною осанкою и с портфелем в руках сидел официальный регистратор (Registrar), долженствовавший, по английскому закону, закрепить своим присутствием законность брака. Я сказал коротенькое поучение или приветствие молодым—почти со слезами на глазах, и неудивительно:

---

[1] „Джок Булль и паписты".
[2] Прекраснейший праздник жизни.

я был самым интимным задушевным деятелем в этом семейном романе, и теперь, достигнувши счастливой развязки, я вполне разделял упоительное блаженство этой увенчанной любви. После церемонии мы все отправились в гостиницу, где был приготовлен роскошный завтрак для родных и знакомых. Тотчас после завтрака, не теряя ни минуты времени, молодые, по прекрасному английскому обычаю, исчезли от глаз profanum vulgar [1], непосвященных в таинство любви, и на почтовых поскакали куда-то в Шотландию провести там медовый месяц (lune de miel).

В этой грациозной обстановке, среди этой мирной жизни, украшенной счастливым сочетанием религии, поэзии и любви, однажды в июне 1846 на нашем крыльце, обвитом розами и козьим листом (chèvrefeuille) послышался стук у двери. Брат-прислужка был чем-то занят в кухне: я побежал отворить. Какой-то слуга говорит: „Русский консул приехал из Лондона и желает видеть г. Печерина: угодно ли вам его принять?“ Это просто меня ошеломило, я не в шутку перепугался и не без причины.

Несколько дней перед тем я получил письмо от Гагарина, [2] где он уведомлял меня, что русский консул в Марсели грозился при первом благоприятном случае схватить его и посадивши на военный корабль отправить в Россию. Гагарин умолял меня быть крайне осторожным и если какой-нибудь русский корабль зайдет в нашу гавань, то вовсе не ходить туда, хоть бы из естественного желания повидаться с соотчичами.

Я отвечал порывисто: „Какое мне дело до русского консула? Я его вовсе не знаю и с русским правительством никаких сношений не имею“.—Но потом подумавши немного прибавил: „Погодите немножко, я спрошусь“. Я побежал наверх к настоятелю, а он разумеется сказал, что должно принять консула. Через полчаса он явился. Мы с настоятелем сошли вниз в приемную.

Г. Кремер, генеральный русский консул в Лондоне, раскланялся со всеми ухватками чиновника иностранной коллегии и с недоумением смотрел на нас, не зная, кто из нас двух Печерин. Я вызвал его из сомнения, и он тотчас же изъявил желание остаться со мною наедине. Настоятель вышел. „Ну так мы станем теперь говорить по-русски, сказал

---

[1] Непосвященной толпы.

[2] Гагарин Иван Сергеевич, князь (1814—1882)—один из представителей русской знати, перешедший в католицизм и вступивший в орден иезуитов (в 1848 г.). Ему принадлежит ряд полемических сочинений против православной церкви, написанных с точки зрения защиты католических догматов. Несмотря на свое изгнание из России, он располагал крупными материальными средствами, что вызвало со стороны Печерина упреки в лицемерном признании им монашеских обетов (см. ниже, стр. 147).

он“.—„Нет, нет! отвечал я: я совсем позабыл говорить по-русски.—„Ну так очень хорошо!“ отвечал он, пожимая плечами: „итак я вам скажу по-французски, что у меня есть поручение к вам от правительства: мне поручено сделать вам запрос о ваших намерениях: намерены ли вы возвратиться в Россию?“—Я отвечал с ужаснейшим азартом: „Monsieur! Comment pouvez-vous me poser cetfe question voyant l'habit, que je porte?“—„De grâce—отвечал он с умоляющим видом: de grâce, calmez-vous: je le demande dans l'intérêt de ceux même avec qui vous sympatisez. [1]

Я спросил его, какой он религии, православной или другой?“—„Chrètien protestant“, отвечал он с скромным наклонением головы. Тут он сказал, что все собранные им у здешнего консула сведения обо мне очень для меня лестны, и наконец видя, что со мною нечего делать, он опять учтиво раскланялся, прибавивши в заключение: „Il me sera toujours agréable de rencontrer un compatriote, quelque habit qu'il porte“. [2]

Мы проводили его со всеми возможными благословлениями и сделали за спиною его огромное знамение креста, что в русском переводе значило: „убирайся с богом!“ Кремер давно уже умер, но мне теперь приятно припомнить его вежливое и ласковое обращение со мною.

Через несколько времени после этого тот же вестник стучится у двери и зовет меня к русскому консулу в Фальмуте, почтенному квакеру Альфреду Фоксу. „Приятель! Friend!“ сказал мне г. Фокс: „Я имею сообщить тебе очень неприятное известие: я получил вот эту бумагу из русского посольства: тебе должно ее прочесть и расписаться в прочтении оной“. Я пробежал глазами. Это было официальное заявление об исключении меня из русского подданства за принятие католической веры. Я расписался с величайшим хладнокровием и возвратил ему бумагу, не взявши даже с нее копии. Г. Фокс крайне этому удивлялся и потом везде в городе рассказывал о моем чрезвычайном равнодушии при получении этого известия. „Ну да уж г. Кремер и прежде мне сказал, что этот человек на все решился: he has counter the cost“ [3].

Когда подумаешь, что в это самое время делалось в России,—как наш царь-Саул бесновался паче прежнего и не нашлось ни одного Давида, чтобы подыграть ему на гуслях и усмирить его бесом волнуемый дух,—когда подумаешь об

---

[1] Сударь! Как можете вы предлагать мне этот вопрос, видя одежду, которую я ношу.—Помилуйте, успокойтесь, я ставлю его в интересах тех, кого вы любите.

[2] Мне всегда приятно встретить земляка, какую бы одежду он ни носил.

[3] Он подсчитал свой счет.

этом, то невольно поблагодаришь провидение за то, что оно укрыло меня от этих бурь в мирном убежище Фальмута.

Но мне самому становится смешно, когда припомню, что я делал в мае 1848, когда вся Европа всколыхалась после Февральской революции, а у нас в Москве славянофилы и западники проводили дни и ночи в бесплодных прениях—что же я тогда делал?

Я спокойно лежал на зеленой мураве на берегу моря, а вокруг меня паслось стадо овец—я был точь-в-точь Дон-Кихот, превратившийся в аркадского пастушка. Это было в самом глухом захолустье, в крошечной живописной деревушке Лангерн (Lanherne). Тут был старый господский дом Елизаветинских времен, принадлежавший прежде фамилии Арундель, а теперь обращенный в монастырь Кармелиток. Меня туда пригласили на неделю или на две, чтобы занять место их каплана во время его отсутствия. Ничто не нарушало могильного спокойствия этой обители, кроме однообразного пения монахинь: они пели в нос и в две ноты. Перед домом была целая роща вековых вязов: на них колыхались огромные гнезда ворон; их тут была целая республика и очень шумная, у них беспрестанно происходили какие-то прения; они вечно перебивали друг друга, как это делается во французском народном собрании, а иногда все сразу каркали: trés bien, trés bien! Но самым занимательным лицом в этой обители была старая, престарелая кобыла, служившая некогда для верховой езды старику священнику, а теперь она жила на пансионе и была такая ручная, что без всякого приглашения сама подходила к окну и, без церемонии всунув голову, получала из рук моих кусок сахару, до которого она была ужасная охотница... Все это тебе кажется ужасным ребячеством: это был медовый месяц моего священства: тогда еще я не раскусил горького ядра монашества и католицизма и не сказал с героем Спиридиона: Gustavi paululum mellis, et ecce nunc morior [1].

Пока жил Николай, мне никогда и в голову не приходило думать о России. Да о чем же было тут думать? Нельзя же думать без предмета. На нет и суда нет. Какой-то солдат привез мне из Крыма два листка петербургских газет. Кроме высочайших приказов по службе, тут было приторное—булгаринским слогом—описание какого-то публичного бала. Вот все, что можно было знать о России! Но лишь только воцарился Александр 2-й, то вдруг от этой немой, русской могилы повеял утренний ветерок светлого воскресенья. Что ищете живого с мертвыми? Русский народ воскрес! Да! он во-истину воскресе! Итак обнимем же и облобызаем друг друга, да и поздороваемся красным яичком!

---

[1] „Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю“.

Пустыня и воля.

> Qui n'a pas plus d'une fois tourné ses regards vers le désert et revé le repos en un coin de la forêt ou dans la grotte de la montagne, près de la source ignorée où se desaltèrent les oiseaux du ciel?
>
> Lammenais.

> J'avais toujour revé de vivre au désert, et tout rêveur bon enfant avouera qu'il a eu la même fantaisie.
>
> George Sand. [1]

Первая сцена. В узенькой комнатке бабушки моей Марфы Семеновны Симоновской, за круглым столиком, мы сидели вчетвером: бабушка, мать моя Пелагея Петровна и тетка Наталия Петровна, а я, как грамотный человек (10 лет), был чтецом этой почтенной компании. Мы читали следующие литературные произведения: Беседы Иоанна Златоуста, Жития святых: великомученицы Варвары, Николая чудотворца, Симеона Столпника, Марии Египетской и весь Киево-Печерский Патерик. Сквозь полурастворенную дверь можно было видеть в столовой дюжину дворовых девок, сидящих рядом на длинной скамье, каждая с прялкой и веретеном в руках.

Пряжа тонкая, прядися!
Веретенышко, вертися!
А веревочка, плетися!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

В старые годы сказали бы с умилением, что это истинно-гомерическая сцена, а теперь мы пошлем Гомера к чорту и просто скажем, что это малороссийская сцена, происходившая в Черниговской губернии Козелецкого повета в грязном местечке Кобылице.

Житие Марии Египетской врезалось у меня в памяти: жить 40 лет в пустыне между дикими скалами на вольном воздухе—гуляй, где хочешь, никто не запретит—души человеческой не встретишь. Вот пустыня и воля!

Вторая сцена. В мае 1818 г. рота солдатушек плелась по узенькой белой дорожке в бессарабской степи. От времени до времени можно было схватить отрывки заунывных песен, поговорок и прибауточек: Кричит птица пава, запропала солдатская слава... Пальцы рубит, зубы рвет, а в солдаты все нейдет!.. Хлеб да вода—солдатская еда... Жизнь копейка—командир наживное дело!

---

[1] Кто не обращал неоднократно своих взоров к пустыне и не мечтал об отдыхе в лесной чаще или в горной пещере, у неведомого родника, где утоляют жажду птицы небесные?—*Ламене.* Я всегда мечтала о жизни в пустыне, и всякий подлинный мечтатель признает, что у него была та же греза.—*Ж. Занд.*

За ротою тянулась бричка, запряженная двумя лошадьми, в бричке сидела мать моя с пуховиками и подушками и с рабою, горничною Василисою. За бричкой ехал кабриолет, где я сидел с отцом, а иногда, для перемены, я ехал верхом на белой лошади возле солдат.

Ничего не видно кроме неба и земли; колеса так и тонут в высокой траве. Едешь целый божий день—ни жилья, ни души человеческой не встретишь. Только под вечер виднеется вдали дым молдаванской деревни с огромным гнездом аиста на каждой хате. Однажды только помню в каком-то овраге мы в полдень нашли хижину пастуха с колодезем и стадом овец. Да еще другой раз неожиданно в этой пустыне явилась бакалейная лавка—ее хозяин был какой-то армянин или грек—в красной ермолке. Тут отец мой закупил припасов на дорогу: винных ягод, фиников, миндалю, изюму и потом постепенно, по востребованию, выдавал мне продовольствие из своего комиссариата.

В этой же степи года два позже—я впервые познакомился с Байроном, прочитавши обзор его сочинений в „Соревнователе просвещения и благотворения“ (орган Декабристов) [1]. Байрон тоже страстно любил пустыню и волю; но его идеалом—был океан.

„Он был, о море, твой певец,
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты могуч, глубок и мрачен,
Как ты ничем не укротим“. (Пушкин).

Иметь свой собственный корабль и на нем носиться по волнам неизмеримого океана, не завися ни от каких властей земных—вот идеал Байронова блаженства! Я, не будучи моряком и не имея никакого понятия о море, любил безграничную свободу степи. Солнце всходит, солнце заходит, и ничего не видишь кроме голубого неба и зеленой земли. Но с какою-то неопреодолимою страстью я стремился за заходящим солнцем: оно, как пламенный шар, тонуло в густой траве на самом краю горизонта—что-то непостижимое — какая-то странная любовь—тянула меня к нему... Клянусь богом, я не раз становился на колени, простирал руки к заходящему солнцу, молился к нему: „Возьми меня с собой! туда, туда на запад!“

Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.

---

[1] Журнал „Соревнователь просвещения и благотворения“ выходил в Петербурге с 1818 г., как орган „Вольного общества любителей российской словесности“, членами которого состояли многие декабристы. В связи с выступлением 14 декабря 1825 г. прекратилось существование и общества и его журнала.

Запад, запад величавый!
Запад золотом горит:
Там венки виются славы,
Доблесть, правда там блестит.
Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбины
В лоне битвы роковой! [1]

Я никак не мог привыкнуть к оседлой сидячей жизни. Вышли „Цыгане" Пушкина и я тотчас понял себя и свое назначение.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет,
И туман и непогоды
Осень поздняя несет.
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальние страны,
В теплый край,
За сине море,
Улетает до весны. (Пушкин).

Третья сцена. В последних числах сентября 1833. я стоял на мосту перед гостиницею Меча в Цюрихе. Дивное невиданное зрелище представлялось очам моим. На краю голубого неба, как пирамиды из чистейшего серебра, рисовались передо мною Альпы. Есть зрелища обновляющие, возрождающие, высоко подымающие душу. После взгляда на Альпы, вся прежняя жизнь моя показалась мне ничтожною. Мой товарищ Редькин [2], по благому русскому обычаю, начал строить куры девушке в кофейне. Это меня возмутило: „Как возможно заниматься такими пошлостями при виде Альп!" Пошли мы в горы. Редькин беспрестанно заглядывал в „Guide des voyageurs" [3] — для того, чтобы восхищаться, где следует, горными красотами. А я об этом вовсе не думал: я наслаждался целиком — полнотою жизни, льющейся через край, ничем необузданною свободою, отрешением от всех земных связей... Пустыня и воля! Подымаясь в гору, сначала чувствуешь усталость, но достигнувши снежных вершин, тут вдруг как будто рукою сняло, как будто сбросил с себя какую-то старую чешую, чувствуешь себя легким, обновленным, вечно-юным; кажется, готов опериться—того и гляди,

[1] Из стих. Печерина, написанного в 1864 г., см. выше стр. 18.
[2] П. Г. Редькин, впоследствии профессор Московского университета и член кружка А. И. Герцена.
[3] Путеводитель.

что вырастут крылья и вдруг понесешься в лазурную даль! Какое блаженство—дышать на этих высотах!

— „Скажите, пожалуйста, что это такое чернеется там вдали в пропасти под нами в ущелине, как будто орлиное гнездо?“

— „Помилуйте! Это городок Бригг, где мы ночевали“.

— „Фу! как это ничтожно! Как могут люди жить в этаких гнездах,—запереться в этих серых горных стенах!“

К несчастью, мы были уже в начале октября—время для горных путешествий прошло, да сверх того наш кошелек видимо истощался: решено поскорее перебраться в Италию, а потом и домой в Берлин. Но мне до этого какое дело? Слепая любовь не знает никаких препятствий. Как же мне расстаться с Альпами? ведь они мне родные! Вся душа моя льнет к ним с непобедимою привязанностью. Итак я буквально проплакал всю ночь в гостинице в Берне. Чтобы как-нибудь угомонить меня, добрый Редькин даже предложил заложить или продать свою золотую табакерку, чтобы дать мне средства долее остаться в Швейцарии. Это, разумеется, было то же, что показать сосульку или игрушку рыдающему младенцу...

Пустыня и воля—да и только! Из всех мудрецов древних и новых я всегда блаженнейшим считал Александра Гумбольда [1]—он всю жизнь странствовал в пустыне—то на снежных высотах Шимборазо, то в дремучих лесах Ориноко, вечно беседовал наедине с природою, отрешенный от всех житейских забот, и умер в маститой старости с безмятежным спокойствием высокого ума, все постигшего и ничему не покорившегося.

Его владычество—природа,
Безмолвный лес—его чертог,
Его сокровище—свобода,
Беседа—тишина и бог!

Жуковский.

Четвертая сцена (в кабинете капитана Файота). Я сидел на диване за письменным столом и писал, писал, но иногда, для отдыха, бросал перо и украдкою под столом читал какой-нибудь роман; но на этот раз это был важный роман—„Спиридион“ Жорж Занда. Что тут долго рассуждать? Я лучше прямо выпишу два отрывка: pièces justificatives [2], важные документы, имевшие окончательное влияние на мою судьбу.

---

[1] Гумбольд (1769—1859)—знаменитый немецкий ученый, географ и естествоиспытатель, автор широко распространенного свода основных знаний о земле и небесной сфере („Космос“). Гумбольд провел пять лет в Южной Америке, посвятив их всестороннему изучению тропиков, а впоследствии исследовал центральную Азию. Его исследования внесли громадный вклад в самые разнообразные области естествознания.

[2] Оправдательные документы.

1. Картезианская келья.

G'était comme un joli de fleurs ef de verdure, où le moine pouvais se promener à pied sec les jours humides et rafraîchir ses gazons d'une nappe d'eau courante dans les jours brûlants, respirer au bord d'une belle terrase le parfums des orangers, dont la cime touffue apportait sous ses yeux un dôme élatant de fleurs et de fruits, et contempler dans un repos absolu le paysage à la fois austère et gracieux, mélancolique et grandiose; enfin cultiver pour la volupté de ses regards des fleurs rares et précieuses, cueillir pour étancher la soif les fruits les plus savoureux, écouter les bruits sublimes de la mer, contempler la splendeur des nuits d'été sous le plus beau ciel, et adorer l'Eternel dans le plus beau temple que jamais il ait ouvert à l'homme dans le sein de la nature. Telles me parurent au premier abord les ineffables jouissances du chartreux, telles je me les promis à moi-même en m'installant dans une de ceux cellules, qui semblaient avoir été disposées pour satisfaire les magnifiques caprices d'imagination ou de rêverie d'une phalange choisi de poêtes et „d'artistes". (Un hiver à Majorque. G. Sand)[1].

2. Сцена из „Спиридиона".

Mon âme se dilatait dans son orgeuilleux enthousiasme; les idées les plus riantes et les plus poëtiques se pressaient dans mon cerveau en même temps qu'une confience audocieuse gonflait ma poitrine. Tous les objets, sur lesquels errait ma vue, semblaient se parer d'une beauté inconnue. Les lames d'or du tabernacle étincelaient, étincelaient comme si une lumière céleste était descendue sur le Saint des Saintes. Les vitraux coloriès, embrasès par le soleil, se reflétant sur le pavé, fermaient entre chaque colonne une large mosaïque de diamants et de pierres précieuses. Les anges de marbre semblaient amollis par la chaleur, incliner leurs fronts el, comme de beaux oiseanx, vouloir cacher sous leurs ailes leurs têtes charmantes, fatiguées du poids des corniches.

---

[1] „Это был уголок, полный цветов и зелени, где монах мог прогуливаться с сухими ногами в сырые дни и освежать свой газон проточной водой в засушливые, вдыхать со своей прекрасной террасы аромат апельсинных деревьев, купы которых радовали его взор роскошной массой цветов и плодов; мог созерцать в абсолютном покое пейзаж одновременно суровый и изящный, меланхолический и грандиозный; мог, наконец, культивировать ради зрительных наслаждений — редкие и драгоценные цветы, срывать для утомления жажды самые лакомые плоды, слушать нежный рокот моря, наслаждаться роскошью летних ночей под прекрасным небом и поклоняться вечности в прекраснейшем храме, который когда-либо открывался человеку в недрах природы. Такими представились мне сразу неизреченные радости картезианцев, такими я и обещала их себе, поселившись в одной из этих келий, которые казались созданными, чтобы удовлетворять прихотливые капризы воображенья и мечты избранной фаланги поэтов и артистов". („Зима на о. Майорке". Ж. Занд).

Les battements égaux et mystérieux de l'horloge ressemblaient aux fortes vibrations d'une poitrine embrasée d'amour, et la flamme blanche et mate de la lampe qui brûle incessement devant l'autel, luttant avec l'eclat du jour était pour moi l'embleme d'une intelligence enchaînée sur la terre, qui aspire sans cesse à se fondre dans l'éternel foyer de l'intelligence divine. (Spiridion. G. Sand) [1].

Вот что меня увлекло, очаровало, обольстило! Для человека, живущего одним воображением, этого было довольно. Я сидел на диване и читал, читал—долго ли, коротко ли не знаю—и думал крепкую думу и наконец порешил — итти прямо в знаменитую картезианскую обитель, La grande Chartreuse [2], что близ Гренобля, поселиться там и, если нужно, принять католическую веру. Заметьте это важное обстоятельство: тут католицизм на втором плане, он был не целью, а средством, а главною целью была—поэтическая пустыня!

Но утро вечера мудренее. Приготовляясь к моему путешествию, я вдруг спросил самого себя: „Но как же я отправлюсь? Ведь у меня денег не много, а от Льежа до Гренобля расстояние—не шутка! Надо итти пешком—стало быть надо опять начать бродяжную жизнь, испытать прежние лишения, а может быть и попасть в руки жандармов... Нет, покорно благодарю!—Это окатило меня ушатом холодной воды и, наученный опытом, я решился остаться и искать поэтической пустыни где-нибудь поближе.

Пятая и последняя сцена. В 1861 я оставил редемптористов. Они мне дали 1000 франков на дорогу. „Ну, теперь слава богу, я вольный казак!“ сказал я самому себе: „дай пойду поглядеть на мечту моей юности!“ Я ехал не останавливаясь до самого Парижа; в Париже пробыл день или два, а оттуда прямо в Лион и к Grande Chartreuse.

Природа осталась тою же: необыкновенно дикая и величественная. Но все прочее изменилось. В старые годы к

[1] „Душа моя трепетала в горделивом энтузиазме, самые веселые и поэтические мысли толпились в моем мозгу в то время, как грудь мою распирало чувство мощной веры. Все предметы, на которые падал мой взгляд, казались мне необычайно прекрасными. Золотые полоски дарохранительницы сверкали, словно небесный свет осиял святое святых. Цветные стекла, пронизанные солнцем, отражались на плитах, образуя между колоннами обширные мозаики из алмазов и драгоценных камней. Мраморные ангелы, казалось изнуренные жарой, склоняли лбы и, как прекрасные птицы, готовились спрятать под крыло свои прекрасные головы, утомленные тяжестью карнизов. Равномерный и таинственный стук часов походил на мощные движенья груди, охваченной любовью, а бело-матовое пламя неугасаемой лампады перед алтарем, споря с дневным светом — было для меня эмблемой разума, прикованного к земле и беспрестанно стремящегося слиться с небесным разумом“. („Спиридион“. Ж. Занд).

[2] Средневековый монастырь, расположенный на юге Франции, в пустынной и горной местности; в XIX в. жившие здесь монахи (картезианцы) занялись выделкой широко распространенного ликера, продажа которого приносила им миллионные доходы.

Grande Chartreuse надобно было итти по берегу ревущего потока по узкой тропинке, где можно было только итти пешком или ехать верхом,—а теперь там проложили славную широкую, царскую дорогу, где экипажи разъезжают. Вместо набожных богомольцев, идущих на поклонение святыне, я уведел целый обоз каких-то телег нагруженных четвероугольными ящиками.

— „Что это такое?“ спросил я.

— „А вот я вам скажу, что это значит“,—отвечала мне дама, сидевшая со мною в дилижансе:—„святые отцы картезианцы нашли в горах какие-то целебные травы и из них сначала было делали какой-то элексир, а теперь они пустились на спекуляцию и из этого элексира приготовляют отличный ликер, продающийся во всех трактирах и кофейнях под именем La Ghartreuse [1]. Эта промышленность доставляет им ежегодно миллион чистого дохода (Pauvres Chartreux! [2]. Вот этот обоз весь нагружен бутылками Шартреза, отправляемыми на продажу. Какой-то винопродавец вздумал было продавать поддельную Шартрезу, но монахи притянули его к суду, выиграли дело, и заставили его выставлять на своих бутылках надпись: Imitation de la Chartreuse “[3].

„Очевидно, — сказал я, — что почтенные картезианцы умеют соединять хитроумие змия с невинностью голубицы“.

Картезианская обитель не представляет ничего замечательного в архитектурном отношении. Эта нестройная и безобразная куча зданий, похожих на большой господский дом с овинами и амбарами. Я нашел там толпу людей, пришедших из чистого любопытства и без малейшего уважения к святыне. Везде был шум и гам. О монашеской трапезе и помину не было, а вместо нее было несколько ресторанов с разными ценами, смотря по карману посетителей. Уставши от дороги, я тотчас сел за стол. Мне прежде всего поднесли рюмку пресловутой шартрезы. Вокруг стола ходил толстый монах и забавлял гостей своими прибаутками и шутками, а иногда, от времени до времени, он подымал глаза к небу и со вздохом произносил: Nous pauvres chartreux! [4]. Нигде, кроме Франции, я не видал такого прозрачно-наглого лицемерия: у немцев оно по крайней мере прикрыто и стушевано врожденным этому народу простодушием. Осмотревши окрестности, где природа действительно великолепна в своей суровой дикости, где все прекрасно, кроме человека,— я поспешил возвратиться в Париж. Я удалился из Карте-

---

[1] Ликер Шартрез.
[2] Бедные картезианцы.
[3] Подделка под Шартрез.
[4] Мы бедные картезианцы.

зианской обители, как Лафонтенова лисица, поджавши хвост и jurant quoiqu'un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus [1].

Конец пятой и последней сцены. Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Некоторые шикают.

Льеж.

(1838—1840).

J'ai fait mon pacte définitif avec le diable, et le diable—c'est la pensée [2].

Письмо к графу Строганову.

Я пробыл всего два года в Льеже, но в этих двух годах стеснились целые столетия мысли. Я пришел в Льеж с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье и пр. Я рожден быть бродягою. Для того, чтобы мыслить, мне непременно надо быть в движении. Я уверен, что мысль и есть не что иное, как электричество или жар или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение (смотри Тиндаля). Я в полном смысле был перипатетическим т. е. прогуливающимся философом.

Мои занятия у капитана не продолжались долее 2-го или много 3-го часа п. п., а после этого я был вольный казак—иди куда хочешь. Вот я так и бродил в долгий день, куда глаза глядят: вдоль прекрасной набережной, quai de la Sauveièze или за городом между работами новой железной дороги, по лугам и пашням, по горам и по долинам, по рощам и лесам. Я бродил, бродил, а между тем мысль работала, работала: я устраивал в голове своей общину (commune), фаланстер.—„Какое это блаженство!"—думал я: „тогда можно будет странствовать по целому свету: куда ни придешь, везде свои, везде готов и стол и дом, везде идут на встречу наши братья и—милые женщины"...—Да! конечно, ведь communauté de femmes [3] входило в учение Бернацкого.

Но эти розовые мечты как-то мало-по-малу стирались. Одинокому бедняку почти в рубищах как-то не клеится думать о женщинах. Женщины премилые существа, но мысль о них как-то невольно сливается с понятием о роскоши: им нужны свежие цветы, шелка да бархаты, алмазы да жемчуга, а любовь в хижине есть не что иное, как запоздалая мечта прошлого столетия. Да и вообще женщины не очень жалуют мечтателей-поэтов: они предпочитают им практических положительных людей с большим физическим капиталом, а на-

---

[1] Клянясь, хотя и немножно поздно, что в другой раз меня уже не проведут.

[2] Я заключил свой окончательный договор с дьяволом, и дьявол—это мысль.

[3] Общность жен.

шему брату-философу придется услышать то же, что Венецианка сказала Жан-Жаку Руссо: Zanetto, lascia le donne e studia la matematica [1]. Итак женщины сошли со сцены—и в воображении моем осталась одна—мужская казарма,—а это уже как видите, очень близко подходит к монашеской обители.

Мне кажется, что все обители, начиная с Пифагора до наших времен, были основаны добродушными, но ленивыми философами, которым не хотелось барахтаться в общественной грязи для преобразования человечества; они выбрали то, что было гораздо легче: собравши кучку единомышленных людей, аристократически брезгая светом, они удалялись в какой-нибудь загородный дом или подальше в пустыню, чтобы там жить во взаимном согласии и любви, подчиняясь ими же самими добровольно избранным законам и начальникам. Это так называемый идеал христианской республики: но это вовсе не доказывает и ни мало не разрешает задачи общественного устройства.

Вот с этими-то идеями я, будучи в Цюрихе, предложил было нескольким русским ехать в Америку и там основать образцовую русскую общину и издавать при ней русский журнал. Для этого предприятия у нас кое-чего не доставало, а именно: сметливости, предприимчивости и капитала! Excusez du peu! [2] Вот так-то я бродил и мечтал в долгие летние дни; ну а как же быть зимою? По приобретенным мною французским и итальянским привычкам, я обыкновенно проводил вечера в театре или кофейне, т. е. пока были деньги в кармане; а теперь без копейки куда мне деться?

В Льеже много церквей и почти во всякой из них была вечерняя служба, так называемая salut, иногда с очень хорошею музыкою. Опершись у какого-нибудь столба, я стоял и смотрел на ярко озаренный алтарь, на дым фимиама, восходящий к высокому готическому своду, с артистическим наслаждением слушал музыку и пение и—думал о своем. Я так повадился ходить в церкви, что иногда, за недостатком музыки, я довольствовался однообразным распевом каноников, читавших псалтырь: это ни мало не отвлекало моего внимания от моих размышлений: оно было как-будто басовой аккомпанимент внутренней музыки души моей.

Прихожу однажды к Фурдрену, а тут у него и Лекуант.

— „Слыхали вы новость?“

— „Как? что такое?“

— „L'abbé Manvuisse rédémptoriste va donner des conférences philosophiques dans les cloîtres de st. Paul!“ [3]

---

[1] Оставь в покое женщин и изучай математику. (Из „Исповеди“ Ж.-Ж. Руссо).

[2] Остановка за малым.

[3] Аббат Манвис, редемпторист, будет читать доклады по философии в монастыре св. Павла.

Ну что ж! хорошо! пойдем послушаем его: посмотрим, какая это философия.

А после оказалось, что это была чисто иезуитская уловка для того, чтобы заманить молодежь: эти conférences philosophiques [1] были просто католические проповеди.

Что нового? спрашивали афиняне каждый день на площади: вот так и я беспрестанно жаждал нового учения, новой системы, новой веры. В каком-то глухом переулке в Льеже открылась новая церковь какой-то новой религии: мы с Лекуантом отправились отведать этой свежей истины. У полураскрытой двери небольшого домика встретил нас какой-то полуодетый, худощавый, бледный, необыкновенно благочестивый муж; он посмотрел на нас каким-то недоверчивым взглядом, и сначала как будто не хотел нас впустить.

— „Да вы пришли ли с добрым намерением?" сказал он. „Вы истинно ли ищете Христа?"

— „Ну да, разумеется, мы ищем его: сделайте милость, впустите!"

В небольшой комнате перед какою-нибудь дюжиною слушателей на какой-то маленькой кафедре сидел степенного вида господин в белом галстуке с книгою в руках. Он переводил Новый Завет с греческого на французский, прибавляя кое-какие свои замечания: все это было очень холодно и сухо. „Ну уж! подумал я—коли нужна религия, то подавай мне ее со всеми очарованиями искусства, с музыкою, живописью, красноречием, а от этого профессора меня мороз по коже подирает".

В Haute Rue в Льеже стояла старая кармелитская церковь, со времен Наполеона превращенная в сенной магазин. Я часто мимо нее проходил. Однажды гляжу—что за чудо! все сено вынесено—церковь выметена и очищена—куча народу работает: столяр, штукатурщики, маляры, а вот и афишка прибита на стене: 2-го августа 1840 отцы редемптористы будут праздновать в их новой церкви причисление к лику святых (canonisation) основателя их ордена, св. Альфонса де-Лигвори [2]. В продолжение 9-ти дней будет в этой церкви служба по утрам и вечерам с проповедью и с полным оркестром музыки.

2-го августа 1840 в 8-м часу утра я уселся на скамье под самою кафедрою. Церковь была усыпана и раздушена

---

[1] Философские доклады.

[2] Де-Лигвори Альфонс (1696—1787)—итальянский священник из аристократической фамилии, основатель ордена редемптористов (орден основан им в 1732 г.), поставившего своей задачей пропаганду католицизма среди низших слоев населения; в 1839 г. папа Григорий XVI объявил Л. святым, а в 1871 г. Пий IX провозгласил его учителем церкви, в чем, в виду совершенно незначительных отличий учения Л. от учения иезуитов, последние видели признание своих догматов морали и религии.

благоуханными цветами. Все лоснилось и блистало—все было ново как с иголочки. Вдруг мерными полновесными стопами восходит на каферду знаменитый Père Bernard, дюжий краснощекий мужчина лет 35-ти—герой моей легенды [1], но тогда он не был еще так толст. Все глаза устремились на него.

„Возлюбленные братья! Я должен вам рассказать жизнь и подвиги величайшего безумца, т. е. св. Альфонса де-Лигвори. Не удивляйтесь этому выражению: в глазах света величайшим безумием считается—отречься от знатного рода и богатства и посвятить себя на службу божию. Вот это именно сделал наш св. Альфонс: сын благородной неаполитанской фамилии, занимавшей блистательное место в обществе, он отрекся от всех земных выгод и с рыцарским самоотвержением, повесивши свою дворянскую шпагу у статуи пресвятой девы, перешел в духовное звание“.

Разумеется, все рыцарски-безумное должно было мне нравиться. Итак в продолжение 9-ти дней я каждый день был в церкви по утру и ввечеру и слушал все проповеди. Главная роль в этом празднестве предоставлена была отцу Манвису (Manvuisse): он был премилый, утонченно вежливый, красноречиво-увлекательный француз. Он меня окончательно победил. После этого девятидневия (Neuvaine) я сел и написал письмо к отцу Манвису: „Я прошел через все возможные философские системы: я был гегелианцем, пифагорийцем, фурьеристом, коммунистом и пр.; но после ваших проповедей я убедился в истине католической веры и прошу вас поучить меня и наставить на путь правый!“ Я заключил какою-то фразою, целиком взятою из Иосифа де-Местра; последнее слово было: Altaria tua, domine virtutum!!! [2] (три восклицания тоже из де-Местра). Окончив и запечатав письмо, я отправился к монастырю редемптористов.

Я постучался железным кольцом у зеленой двери: мне отворил—кто вы думаете?—опять тот же герой моей легенды! он поклонился очень учтиво, но с каким-то застенчиво-недоверчивым видом. Моя борода ничего доброго не предвещала:

— „Позвольте мне вас просить передать это письмо отцу Манвису“.

— „Его теперь нет дома: он возвратится через 10 дней; я с величайшим удовольствием доставлю ему ваше письмо“.

— „Покорно вас благодарю“.

Дверь затворили—я перешел за Рубикон. Мне непременно надо сделать здесь важную оговорку. До тех пор я ни с каким католическим священником никаких сношений не имел; напротив католики чуждались меня и смотрели на меня с ужасом и омерзением, как на друга фармазонов, мытарей

[1] См. выше: „Легенда о монахе и бесе“.

[2] Алтарь твой, господь добродетели!

и грешников. Мальчишки семинаристы хихикали надо мною, когда во время архиерейской службы я стоял опершись о какую-нибудь колонну и с философским равнодушием смотрел на все эти церемонии. К этой эпохе принадлежит и следующий анекдот. Иду я однажды по улице, попадается мне навстречу человек средних лет с младенцем на руках: малютка загляделся на меня как на какое диво и протянул ко мне обе ручонки. Отец с досадою ударил ребенка и сказал вслух: „Ne le regarde pas, mon enfant! c'est un fou!!!“ [1] Вероятно, это был какой-нибудь добрый bourgeois conservateur [2], вероятно, враг всякого реализма, подобно графу Толстому [3].

Блаженни алчущие и жаждущие правды...

Dilexi justitiam et odi iniquitatem
et propterea morior in exilio [4].
Григорий VII-й.

Если в этом состоит блаженство, то оно досталось мне в удел. Всю мою жизнь я одного искал, одного жаждал— истины и правосудия. И этого именно мне нигде не удалось.

Меня призвали было в Рим (в 1859 г.) с большими надеждами и ожиданиями: хотели похвастаться мною перед папою и кардиналами, а вышло совсем напротив. Нашли, что я составлен не из такого мягкого материала, как они воображали, а потому поспешили отправить меня назад в Англию, а в наказание за строптивость даже не представили меня папе; следовательно, я ни разу в моей жизни не целовал ни папской туфли, ни чего-либо другого. „Cela nuira sérieusement à votre canonisation“ [5], сказал мне генерал ордена редемптористов. Каково? мне заживо сулили канонизацию, т. е. причисление к лику святых, если б я был немножко погибче. Ха-ха-ха, ха-ха! Risum tentatis, amici [6].

---

1 Не смотри на него! это—сумашедший.

2 Буржуа-консерватор.

3 Граф Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889)—с 1866 по 1880 г.—министр народного просвещения, затем министр внутренних дел и шеф жандармов; ярый и последовательный реакционер, Толстой видел одно из средств борьбы с революционным движением в отуплении учащейся молодежи путем усиленного преподавания в гимназиях мертвых (латинского и греческого) языков и ослаблении преподавания предметов, связанных с потребностями реальной жизни (математики, естественных наук и т. д.); в этом духе он и провел в 1871 г. реформу среднего образования, вызвавшую общее недовольство среди либерально-буржуазных элементов русского общества. Печерин, сам классик и профессор греческой словесности, в своих частных письмах резко и решительно высказывался против политики Толстого.

4 „Возлюбил справедливость и возненавидел неправду и потому умираю в изгнании“. Слова, приписываемые римскому папе Григорию VII (1073—1085).

5 Это сильно затруднит вашу канонизацию.

6 Удержите смех, друзья!

Эти таинственные сношения с невидимым миром не что иное, как пошлая игра самого мелкого честолюбия, точь-в-точь как русское чинопроизводство. „Вот видите ли, батюшка, вот что значит упрямство! Если бы вы были немножно поуступчивее, то вас бы сделали статским советником и дали бы Анну на шею, да и была бы прибавка жалованья. Ласковое телятко двух маток сосет!"

Из шпионствующей России попасть в римский монастырь—это просто из огня в полымя. Последние слова генерала ко мне были: „Vous êtes un homme franc!"[1] Бьюсь об заклад, что ты примешь это за комплимент: как же? сказать кому-нибудь в лицо: „Вы прямодушный и откровенный человек!—мне кажется, это большая похвала. Ничего не бывало! в устах генерала это было самое жесткое порицание: „Вы человек ни к чему непригодный, вы вовсе не способны к монашеской жизни: тут требуется не откровенность и прямодушие, а скрытность и лицемерие, тут надо лукавить и хитрить для того, чтобы задобрить начальство да зашибить копейку для общего блага обители!.." Moriamur in simplicitate nostra![2] сказал я самому себе.

Я выехал из Рима в Вербное воскресенье, т. е. в то самое время, когда другие нарочно приезжают в Рим для того, чтобы присутствовать при священных обрядах страстной недели. Я умолял генерала отпустить меня поскорее, не теряя ни минуты времени: „Я задыхаюсь в этой атмосфере; мне становится дурно; уверяю вас, что все это пройдет и мне сделается лучше, лишь только я выйду из римских стен". На меня нашла какая-то хандра: как будто домовой меня душил. Иногда я просыпался ночью в своей келье и думал про себя: „Ну что как они меня отравят или задушат? Ведь эти люди на все готовы!" Разумеется этому не было ни малейшего основания—это был лихорадочный бред; но все ж таки я уверен, что подобные мысли никогда бы мне не пришли в голову под кровлею какого-нибудь честного протестанта. Вот слова, записанные в келье монастыря редемптористов Villa Caserta presso S. Maria Maggioré[3], они сохранили свою свежесть, запах и колорит местности:

Rome 22 fevrier.

«Mes larmes ne cessent de couler. O Rome! que je te déteste! Je répete les paroles de st. Alphonse:» «Les temps après lequel je pouvrai m'échapper de Rome me semble durer mille ans! combien il me tarde d'être delivré de toutes ces cérémonies!»

---

[1] Вы—откровенный человек!
[2] Умрем в нашей простоте (ничтожестве).
[3] Вилла Казерта у церкви св. Марии в Риме.

O Rome! j'aime mieux les pauvres cabanes de nos irlandais que tous tes palais somptueux.—O Rome! je te hais: tu es le repaire de l'ambition et des viles intrigues. C'est ici qu'on oublie le soin des âmes et qu'on ne pense qu'à augmenter sa réputation et son crédit; on ne vit que pour sa même—faciamus nobis nomen! on use ses souliers dans les antichambres des cardinaux [1].

Даже выехавши из Рима, даже в Чивитавеккиа я все еще трепетал—думал, что вот что-нибудь случится и меня назад воротят; ну что как я потеряю деньги? с чем тогда сесть на пароход? или, положим, украдут у меня шинель (что очень часто случается в Риме), а теперь ведь еще довольно холодно... Наконец я на пароходе—пароход зашипел, отчалил от берега и поплыл по синю морю, посылая струю черного дыма к берегам Италии... Славу богу! Я в первый раз свободно вздохнул. Laqueus contritus est et nos liberati sumus! [2] Сеть порвалась и птичка вспорхнула на волю. Но и тут я еще не совсем отделался от Рима: со мною на пароходе ехал отставной член французской полиции, проживавший несколько времени в монастыре у редемптористов. Бог или чорт знает по каким причинам—вероятно по каким-нибудь делам духовно-политического шпионства.

С неописанным упоительным наслаждением увидел я снова белые скалы Англии и зеленые кентские луга. Вот страна разума и свободы! Страна, где есть истина в науке и в жизни и правосудие в судах; где все действуют открыто и прямодушно и где человеку можно жить по-человечески [3]. Для чего я написал это вступление или отступление? Ей богу не знаю! Бог весть, так пришло в голову. Скажу с Пилатом: Еже писах—писах.

Льеж (1840).

Итак мы остановились у зеленой двери с медным или железным кольцом монастыря редемптористов в Haute Rue в Льеже. Мой гренадер, взявшись доставить мое письмо к отцу Манвису и учтиво раскланявшись, затворил дверь, и я

---

[1] Рим 22 февраля. „Слезы мои не перестают течь. О, Рим!—Как я тебя ненавижу! Я повторяю слова св. Альфонса: „Время, пока я смог покинуть Рим, показалось мне тысячелетием: как долго тянулось освобождение от всех этих церемоний!“ О, Рим, мне милее убогие лачуги наших ирландцев, чем все твои пышные дворцы.—О, Рим! Я тебя ненавижу: ты арена честолюбий и подлых интриг. Здесь забывают заботу о душе и думают только о должностях и повышении доходов, живут только для себя—„создадим себе имя!“—протирают подошвы в кардинальских прихожих.

[2] Петля снята и мы свободны!

[3] А между тем на политическом небосклоне собирались черные тучи—кое-где сверкали зловещие молнии, слышались отдаленные раскаты грома и подымалась буря войны 1859, подготовившей окончательное падение папской власти [примечание В. С. Печерина].

остался один на улице. Тут меня поразила мысль, что я сделал решительный шаг, впервые вошедши в сношения с католическим священником. Определенно ясного ничего не было у меня в голове, переход в католическую церковь мелькал в каком-то отдаленном тумане... „Il me faut des émotions“ [1], сказал я Фурдрену, оправдывая перед ним мой поступок. Действительно, я искал новых ощущений, новых приключений, мне надоела однообразная жизнь, да к тому же таинственный 1840-й год непременно требовал решительного перелома в моей судьбе.

Через 10 дней я пошел проведать, воротился ли отец Манвис. Меня ввели в приемную. Отец Манвис выбежал мне навстречу с распростертыми объятиями, с открытым лицом, с милою улыбкою. Лихой француз да и только! Он посадил меня, обласкал меня, осыпал меня любезностями, так что я души в себе не слышал. Я для формы предложил ему несколько возражений, которые он тотчас же очень легко разрешил. Вообще я не верю, чтобы кто-либо мог быть убежден речами, доводами: нет! каждый из нас бывает убежден или побежден своим собственным умом и сердцем, а внешние влияния не что иное, как предлог, за который мы хватаемся, чтобы осуществить давнишнее стремление или предчувствие нашей души. Я был в том состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя, безусловно-женственно предать себя другому, пожертвовать разумом и волею высшему закону, и оставить по себе памятник „любви, себя забывшей и до конца не изменившей“ (Жуковский). Когда отец Манвис, взявши меня за руку, сказал мне: Mon enfant [2]—эти слова потрясли мое сердце до самых глубочайших основ его и слезы выступили на глаза... Когда я передал это ощущение Фурдрену, он тоже был тронут и сказал: „Ах как бы бы я хотел поговорить с отцом Манвисом!—mais que diront les notres!?“ [3]—и эти слова не его только остановили.

Много ли мало ли, долго ли коротко ли, после нескольких свиданий я вошел в самые тесные сношения с отцом Манвисом и обнажил перед ним всю свою совесть. Тут оказались некоторые странные и даже забавные черты. По моей русской совести я считал величайшим своим прегрешением неисполнение моих обязанностей к правительству. „Помилуйте! сказал о. Манвис, „ведь это только в отношении к правительству, это ничего не значит, тут нет никакого греха.“—Это почти то же, что тебе сказал о. Отман в Сен-Троне (St. Trond) и за что ты на него так рассердился: „Un pacte fait avec Dieu détruit toutes les autres obligations“

[1] Мне нужны сильные ощущения.
[2] Мой сын.
[3] Но что скажут наши!

т. е. „договор, заключенный с богом, уничтожает все прежние обязательства“. Это было 30 лет назад, а теперь сделалось гораздо хуже: теперь католики все и каждый считают себя в праве не повиноваться властям и законам, если они хоть сколько-нибудь идут наперекор непогрешимому папе.

Кстати я приведу здесь 1) аксиому и 2) исторический факт.

Аксиома. Католицизм, с его новейшими развитиями и притязаниями, несовместим с порядком и благосостоянием никакого благоустроенного государства (см. современную историю).

Исторический факт. Католическая церковь теперь в открытом бунте против всех предержащих властей и всего современного государственнного строя (см. объявление войны в Силлабусе [1]. Какое из этих двух посылок надо вывести заключение—это я предоставляю на размышление государственным людям.

В разговоре с о. Манвисом мне как-то пришлось сказать, что у моего отца было маленькое поместье (50 или 60 душ)— Рязанской губернии Егорьевского уезда сельцо Навольное, Позняки тож. Духовный отец мой так и вспыхнул: „Ах! боже мой! поместье! да где же оно? да какое оно? а большие с него доходы?“—Если бы я не был по уши влюблен, я бы наверное заметил эту черту и она бы мне напомнила—поповские глаза.

Я купил себе молитвенник la journée du chrétien [2], и начал молиться. Молитва есть излияние беспредельной любви в беспредельный эфир. Вот поэтому-то старые девы вообще так набожны; им не удалось найти земного предмета, и так они вечно испаряются в голубую даль любовью к незримой, неосязаемой, вечно юной красоте. Католическое благочестие часто дышит буйным пламенем земной страсти. Молодая дева млеет от любви перед изображением пламенеющего, терниями обвитого, копьем пронзенного сердца Иисуса. „О любовь распятия! любовь, кровью истекающая! любовь, из любви умирающая!“—Св. Терезия [3], в светлом видении, видит прелестного мальчика с крыльями: он золотою стрелою с огненным острием пронзает ей сердце насквозь, и она, изнывая в неописанно-сладостном мучении, восклицает:

---

[1] Силлабус—изданный римским папой в 1864 г. перечень осуждаемых католической церковью „заблуждений“; по правильному выражению Печерина этот перечень представлял объявление войны со стороны католической церкви всем завоеваниям человеческой культуры; он провозгласил, между прочим, господство церковных законов над законами светских государств.

[2] День христианина.

[3] Испанская монахиня XVI в., объявленная святой; ее писания характернейший образчик связи религиозных и эротических мотивов.—O padecer o morir (исп.)—или страдать или умереть.

„O padecer, o morir! Одно из двух: или страдать или умереть! Без страданья жить не хочу! Умираю любя!“ Вот женщина в полном смысле слова! Итак, столетия прошли напрасно, сердце человеческое не изменилось; оно волнуемо теми же страстями и тех же богов зовет себе на помощь, и древний языческий купидон, в том же костюме и с теми же стрелами является в келье кармелитской монашенки 16-го столетия.

Камердинер, друг капитана, как-то случайно зашел ко мне и с изумлением увидел на столе молитвенник: я сгорел от стыда и солгал, сказавши ему, что я этот молитвенник купил не для себя, а для одной молодой девушки—по французскому правилу: c'est bon pour les femmes![1] Это была последняя жертва, принесенная людскому страху (respect humain). Перед Фурдреном и Лекуантом я хвалился своим молитвенником и уверял их, что в нем бездна поэзии. „Конечно так“, сказал Лекуант: „но мне кажется, что человеку очень можно обойтись без этой поэзии!“—„C'est selon[2]“ отвечал я, не зная, что сказать.

Сколько у меня было бесед или совещаний с отцом Манвисом—ей богу не помню,—кажется очень не много: нам не о чем было спорить, я на все был готов. Для утверждения меня в моих верованиях он дал мне прочесть Les conférences du Cardinal de Luzerne[3], который впрочем был не ультрамонтан, а умеренный галликан времен реставрации. Это была обыкновенная французская фразеология, нарочно к тому приноровленная, чтобы ускользнуть от истины под прикрытием напыщенных фраз.

Нам оставалось решить два вопроса: 1-й о моем вступлении в католическую церковь, 2-й о перемене образа жизни. Признаюсь, сначала мне ужасно противно было сделать публичный шаг.—„Зачем же выставлять перед толпою эти тайные сокровища души?“—„Единственные сокровища души суть дары божьей благодати“, отвечал отец Манвис: „а их-то и следует показать миру для вящшей любви божией и для назидания ближнего“. На это нечего было отвечать. Назначен был день. Церковь была разукрашена и раздушена цветами. Много ли мало ли там было народу—вовсе не помню: я ничего не видел. Вероятно там были все поклонники редемптористов. Коленопреклоненный перед алтарем на каком-то prie-dieu с красною подушкою, в изношенном синем фраке, с бородою и длинными волосами я прочел какой-то символ

[1] Это хорошо для женщин.

[2] Это зависит.

[3] Проповеди кардинала Люцерна, французского епископа (1738 – 1821), изгнанного революцией, вернувшегося с реставрацией, сторонника автономии французской церкви (галликане).

веры. Отец Манвис сидя тут же у алтаря сказал мне коротенькую речь (allocution), где он сравнивал меня с св. Августином. Св. Августин тоже был профессором риторики: он много слез стоил своей матери; она уже считала его погибшим; но благое провидение привело его в город Медиолан, где проповеди св. Амвросия обратили его в истинную веру. Очевидно, что проповедник ставил себя наравне с св. Амвросием.

По окончании церемонии меня пригласили в приемную завтракать с отцем Манвисом. Мы стали разговаривать о Жорж-Занде. Он уверял меня, что по последним известиям из Парижа „qu'elle va se convertir“ [1]. (Нет, батюшка, погоди немножко: подобные люди не легко обращаются; это добро нам, простачкам). Все это происходило очень рано по-утру: я воротился домой как будто ни в чем не бывало и стал по обыкновению варить себе кофе на спиртовой лампе; но сквозь открытое окно слышу, что моя хозяйка старушка m-me Joarisse разговаривает с сыном или кем-то другим: „Вишь какая новость! а мы доселе не знали, что он не католик: слава богу!“ На другой день прихожу к Фурдрену и Лекуанту—моя тайна уже всем известна. Редемптористы поспешили напечатать подробное описание церемонии в католическом органе: Journal de Kersten с разными прибаутками и прикрасами, так что из меня сделали очень важное лицо. Это ужасно было досадно франмасонам, потому что они имели обо мне очень высокое понятие, но дружба моя с Фурдреном и Лекуантом нимало от этого не потерпела.

Оставалось теперь разрешить второй вопрос—о перемене образа жизни. У меня было страстное желание удалиться от света. Отец Манвис при этом держался совершенно беспристрастно и нимало не хвалил своего прихода.

— „Вы любите заниматься науками: вот вам ученый орден—Иезуиты. Хотите я вам дам письмо к их провинциалу?“ [2]

— „Нет! нет!“ отвечал я.

Даже самое имя иезуитов было мне противно, да притом пришла в голову мысль: что как в России узнают, что я сделался иезуитом, ведь это будет просто срам и позор!

—„У вас было сильное влечение к совершенному уединению и молчанию, и вот недалеко от Нанси—откуда я родом—находится прелестная, самая романтическая Шартреза (Картезианский монастырь). А вот и письмо от вашего старого знакомого аббата Бюро из Меца. Он приглашает вас к себе и обещает устроить вашу судьбу наилучшим образом (je lui ferai un sort).

---

[1] Что она скоро обратится [в католичество].

[2] Провинциалы—так назывались областные руководители католических орденов.

— „Потрудитесь поблагодарить аббата Бюро за его доброе ко мне расположение, но mon parti est pris: я невозвратно решился удалиться в уединение—только не могу решиться, куда итти; дайте мне время подумать; я письменно изложу вам мои желания“.

Через несколько дней я пришел к нему с следующей коротенькой заметкою: „я желал бы жить в совершенном уединении, но вместе с тем иметь возможность по временам выходить из него для того, чтобы навещать больных, страждущих и несчастных и помогать им словом и делом“.

Это было почти целиком взято из Спиридиона Жорж Занда.

— „Все это вы найдете у нас,—сказал отец Манвис: мы очень редко выходим, да и то только по делам христианской любви“.

— „Очень хорошо!“ отвечал я; „итак, отец мой, я это дело совершенно предоставляю вашему благоусмотрению“.

— „Прекрасно! вот это поступок истинно христианского повиновения, т. е. предоставлять все на суд вашего духовного отца!“

— „При этом позвольте мне вам заметить, что я вовсе не имею притязания быть священником—je n'aspire pas a cet honneur. Я хочу остаться смиренным братом“.

— „Ну да уж это мы увидим после! Однажды в монастыре, вы будете делать все, что вам прикажут. Покамест мы не можем ничего сделать касательно принятия вас в монастырь до приезда нашего викария (vicaire général) из Вены— мы его с часу на час ожидаем, а между тем, если угодно, я вас представлю здешнему настоятелю“.

Вошел человек средних лет высокого роста с важною и холодною наружностью и с огромным носом: это был австриец отец де-Гельд (de Held). У него вовсе не было развязности и приветливости отца Манвиса, но зато были более солидные качества: прямодушие и чувство правосудия, столь редкие у монахов. Он был несколько лет моим начальником в Лондоне и всегда обходился со мною истинно по-отечески. Когда брат Федор Печерин пришел проститься со мною, то он, положив мне руку на плечо, сказал ему: „Depuis que je le connais, il ne m'a jamais donne un moment de deplaisir“ [1]. Наконец его вытеснили из Лондона подлыми и коварными происками другого преподобного отца, которому хотелось сесть на его место—в чем участвовал и теперешний архиепископ Михельнский — ci-devant rédemptoriste [2]. Мне современем придется описать эту интригу, в которой и женщины играли важную роль. Что тут ваши дипломаты! Ведь

[1] С тех пор, что я его знаю, он ни на момент не доставил мне неудовольствия.

[2] Бывший редемпторист.

дипломаты—люди светские, женатые, у них есть семейные связи, есть человеческие чувства и страсти; а у монаха сердце черствое, заплесневшее, заржавленное. У него одна мысль: святая церковь и обитель; единственные движения его сердца—если оно когда-либо движется—подобострастие к начальству, мелкое честолюбие и беспредельное, неизмеримое, как океан, любостяжание!

Отец де-Гельд расспрашивал меня о том, какие книги убедили меня в истине католической веры. Мы потолковали о философских системах Германии и особенно о новом католицизме Баадера [1]. Все это было с его стороны очень холодно и сдержанно. Он учтиво раскланялся и ушел. Один из монахов—отец Берсе с большим любопытством расспрашивал обо мне у отца Манвиса: „Он должно быть очень азартный человек“ (вероятно судя по бороде). — „Помилуйте! отвечал отец Манвис: il est la douceur même!“ [2]

Принятие в орден редемптористов.

Monsieur!!! vous êtes un révolutionnaire !!! [3]

Ректор Дегур-ов.

Наконец викарий (vicaire général) приехал из Вены, и меня ввели уже не в приемную (parloir), а в другую комнату на верхнем этаже внутри монастыря. Тут за столом сидели: викарий отец Пассера (Passerat), настоятель отец де-Гельд и мой духовник, отец Манвис. О. Пассера имел важное и несколько суровое лицо, его белые волосы небрежно расстилались по плечам. Вид его невольно напомнил мне великого инквизитора в Дон-Карлосе. Участь его была странная. В молодости при Наполеоне І-м он из семинаристов попал в солдаты и несколько лет прослужил в большой армии (la grande armée); но когда звезда великого человека закатилась „И боем последним Монмартр прогремел“, он вспомнил мечту своей юности и, следуя своему первому призванию, вступил в орден редемптористов и дослужился до того, что сделался

---

[1] Баадер (1765—1841)—реакционный немецкий философ-мистик, выразитель идейной реакции против материалистической философии XVIII века, ярый защитник догматов католицизма, как опоры против революционного движения. Заглавие его сочинения „О вызванной, благодаря французкой революции, необходимости нового и более тесного союза между религией и политикой“,—показывает, какое политическое значение придавал Баадер своей религиозной философии.

[2] Он—сама мягкость!

[3] Сударь!! Вы—революционер! *Дегуров* — француз-эмигрант Дюгур, покинувший Францию во время Великой революции, поступивший на русскую службу и руссифицировавший свою фамилию при помощи приставки „ов“; в самую реакционную эпоху Петербургского университета, с 1825 по 1836 г., был его ректором.

вторым лицом после генерала, т. е. его представителем по сю сторону Альп. О. Пассера был француз jusqu à la moêlle des os [1]. У всех французов есть какой-то особенный дар придавать себе театрально-величественный вид: все они глядят императорами и говорят высокими полновесными фразами, повидимому заключающими в себе всю глубь человеческой мудрости; но это только на сцене: посмотрите за кулисы, снимите с них мишурную мантию, сорвите личину, и окажется ужасная голь...

Mais au moindre revers funeste, le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'evanouit [2].

Это напомнило мне другого француза-легитимиста, который, устыдившись французского имени, прицепил к нему православное — ов.

Я только что вступил в университет. „Ректор Дегуров!“ Дегуров! Ну уж это непременно какой-нибудь тамбовский или саратовский помещик: этим и фамилия пахнет. После молебствия перед началом курсов, я пошел представиться ректору. Каково же было мое изумление, когда я нашел, что этот тамбовский помещик ни слова не знает по-русски! Он встретил меня с важною осанкою времен Людовика XIV-го, взглянул на меня императорским взглядом и торжественно-протяжным голосом сказал: Monsieur!!! Vous êtes un ré—vo—lu—tion—nairrre!!! [3] А все это вышло из-за того, что перед молебствием инспектор, отставной фрунтовик, вздумал построить студентов в боевой порядок, и довольно неучтиво взявши меня за рукав, как пешку поставил на место, на что я довольно азартно возразил, что я не привык к подобному обращению. Это, как следует, донесли начальнику, и ректор Degour-off окрестил меня революционером, каковым я и остался до конца дней. А по возвращении из Берлина, простодушный попечитель Бороздин [4] сказал обо мне: „это одна из тех змей, которых Россия питает на груди своей!“ Тут я окончательно превратился в Змея Горыныча.

Но не так думали обо мне святые отцы, собранные в конклаве в монастыре редемптористов: в глазах их я был кроткою незлобною голубицею.

Викарий о. Пассера очень ласково расспрашивал меня о том, что возбудило во мне первую мысль о монашеской жизни. Я отвечал, что с самого детства я любил читать жития святых, особенно пустынников. „Очень хорошо! Это самое лучшее приготовление к монашеской жизни!“ — После еще нескольких неважных вопросов, он приподнялся и с важною

---

[1] До мозга костей.

[2] Но при малейшем печальном обороте судьбы, маска падает, остается человек, а герой испаряется.

[3] Сударь!!! Вы—ре-во-лю-ци он-неррр!!!

[4] См. прим. на стр. 38.

осанкою сказал: Eh bien! nous vous recevons! т. е. Мы, божиею милостию император и пр. принимаем вас в Орден. Я, не сказавши ни слова, поблагодарил его легким наклонением головы. Я не знал их обрядов: мне следовало бы упасть на колени и поцеловать ручку Его Высокопреподобию; но я тогда был еще вольным казаком и не заботился ни о каких приличиях.

Под конец этой сцены отворилась дверь и вошло новое лицо, поразившее меня необыкновенным выражением — лицемерия. Это был тот самый о. Отман, что так тебя разгневал в С.-Троне (St. Trond). Он был начальником новициев [1] (Maître des novices) и нарочно приехал из Сен-Трона, чтобы принять меня из рук викария под свою опеку. Он был еще молодой человек, но вечно ходил согбенным, как старец, и никогда не поднимал глаз, так что можно было только видеть его веки. Лицо у него было бледное, как полотно, с длиннейшим остроконечным носом — верным признаком хитрости и лукавства. Эти господа любят иногда похвастать своею классическою ученостью. Говоря со мною, как с бывшим профессором, о суете и ничтожестве мира сего, о том, как непрочны все земные связи и как лучшие друзья изменяют нам в несчастии, он подвернул стишок, кажется, из Овидия: multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris [2].

Все было решено. Мне оставалось только ехать в Сен-Трон в дом новициата. Но я все еще как-то не имел ясного понятия о том, что я иду окончательно запереться в монастырь. Мне сказали, что мне надобно будет в продолжение недели сделать духовные упражнения (exercices spirituels). Я так всем и говорил, что еду в St-Trond на неделю не больше. Но Фурдрен очень хорошо понял, что я исчезну невозвратно, когда он сказал своей маленькой девочке: „Поцелуйся с ним, душечка, ты его долго не увидишь". С капитаном я простился довольно холодно и церемонно: казалось, все чувства благодарности были заглушены религиозным энтузиазмом или назарейским [3] безумием. Я решительно переходил в другой лагерь. Католическая церковь есть отличная школа ненависти. „Vos, qui diligitis Dominum, adite malum", если вы любите господа, то вы должны ненавидеть врагов его. Как далеко они ушли от евангелия!

Прощаясь с о. Менвисом, я изъявил сожаление, что лишаюсь его добрых советов. „Вы ничего не теряете: у вас в Сен-Троне будет отличный наставник о. Отман—он тоже

---

[1] Новициями во французских монастырях называют послушников, готовящихся в монахи. Отсюда—новициат, общежитие послушников.

[2] Многих ты числишь друзей, но если настанут тяжелые времена, ты останешься один (Овидий).

[3] Христианским.

француз из Альзаса: C'est un homme profond!" [1] Простился я также с моею доброю старушкою m-me Joarrisse и все-таки оставил ей надежду, что может быть ворочусь. Все мои пожитки состояли из нескольких книг: еврейской библии, лексикона и грамматики, Soirées de S-Petersbourg De-Maistre'a [2] и еще кое-чего: все эти книги я с каким-то человеком отправил в монастырь Haute Rue, а сам я на-легке в синем фраке с бронзовыми пуговицами и пестрых штанах с узелком в руке (заключавшим одну рубашку с кое-чем другим) пошел навестить мой старый притон у петушка (au coq), где встретил старых приятелей, кондукторов и кучеров омнибусов, часто обедавших со мною в этом кабачке и нередко удивлявшихся моей республиканской прическе. Хозяин так меня полюбил, что незадолго до моего отъезда взял двух своих мальчишек из школы des frères chrétiens [3] и отдал их мне в науку. Я учил пополам с грехом: иногда случались затруднения в арифметике, особенно когда дело доходило до дробей; но с божьей помощью все благополучно сходило с рук. Меня на дорогу накормили отличным обедом; но о настоящем моем намерении я ни гу-гу, а просто сказал, что еду на несколько дней в Сен-Трон. Омнибус отвез меня к станции: это была моя первая поездка по железной дороге, тогда еще недавно открытой. На половине дороги пришлось ожидать несколько часов мехельнского поезда: это время я очень приятно провел в галантерейном разговоре с хорошенькою demoiselle du comptoir [4]. Это была последняя жертва, брошенная миру юности...

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она!

„St.-Trond est une petite ville bigotte," [5] сказал мне Лекуант прощаясь со мною. Этот городишко в каких-нибудь 8.000 душ лежал в самом глухом захолустье. К нему была проведена ветвь железной дороги, но дальше уж никуда не было проезда: хоть три года скачи, как говорит Гоголь, но ни до какого государства не доедешь. Почти все население состояло из попов, монахов и их поклонников. Никакой промышленности, ни торговли — как и следует быть в таком благочестивом месте. Везде мертвая тишина, изредка только прерываемая звоном колокола, призывающего к утренней или вечерней молитве, — точно в какой-нибудь Аравии, где муэдзин с

[1] Это — глубокий человек!
[2] „Петербургские вечера" Де-Местра.
[3] Христианских братьев.
[4] Кассиршей.
[5] Сен-Трон—маленький ханжеский городок.

высоты минарета в известные часы кричит: „Аллах у Аллах у Мохаммед расун Аллах!“

Вышедши из станции железной дороги, я не пошел прямо в монастырь, а зашел прежде в цырульню — и вот почему. Еще предварительно в Льеже я обрил себе бороду, оставивши только небольшие усики; но и с этим мне казалось неприличным явиться в новициат, — и так в этой цырульне какая-то женщина-цырульница обрила мне усы. Adieu mon plaisir! [1] В этом смиренном образе, отложивши в сторону всю гордость века, отрекшись от диавола и всех дел его, я робко позвонил у двери Maison des rédemptoristes [2].

Дверь мне отворил благолепый австриец отец Пилат. Он с какою-то особенною улыбкою взглянул на меня, на мой костюм и узелок. Я поспешил сказать ему, что я тот русский, которого ожидают в Новициате. „А! пожалуйте! пожалуйте!“ и ввел меня в хорошо убранную комнату: тут был стол с несколькими стульями, кушетка и постель с занавесками. „Тьфу, пропасть!“ подумал я: „неужели же они живут так роскошно: это вовсе не сообразно с философскою и монашескою бедностью“. Но я ошибался: это была комната для гостей. Через несколько минут вошел отец министр Геллерт, заведывавший хозяйственною частью монастыря: он радушно приветствовал меня и, взявши меня за руку, повел в длинный-длинный коридор, на который открывались двери с обеих сторон. В конце корридора отворилась маленькая дверь и я очутился в крохотной комнатке с одним окном и совершенно голой. Она была очень хорошо выщекатурена. Тут был простой деревянный столик с деревянным резным распятием, с чернильницею и песочницею и несколькими листами бумаги; в углу стояла деревянная кровать, а на ней вместо пуховика — мешок туго набитый соломою и того же материала подушка, но все это было покрыто белоснежною простынею с шерстяным одеялом. В этой келье все блистало необыкновенною опрятностью: даже досчатый пол лоснился как будто паркет. Ничего не могло быть лучше! Я почувствовал себя как будто в свойственной мне атмосфере. Отрешение от излишеств, от ненужных вещей, от ложных благ — вот истинная свобода. Когда я остался один, меня охватило какое-то неописанно-блаженное чувство спокойствия: здесь мертвая тишина! сюда не доходят никакие мирские звуки, здесь не надобно думать о завтрем.

Кто-то постучался у двери — entrez [3]. Вошел молодой человек приятной наружности с отличными манерами — в монашеской рясе. Это был frère Meyer один из новициев,

---

[1] Прощай мое удовольствие.
[2] Дом редемптористов.
[3] Войдите!

нарочно посланный pour me tenir compagnie[1] для того, чтобы мне не было скучно вначале. Он взял меня провести по монастырю, потом мы сошли в сад и долго вместе гуляли. Он был развязный светский молодой человек, очень сведущий в естественных науках и говорил очень приятно. Он сказал мне, что я обманул ожидание всех новициев: о. Отман обещал привести им русского с бородою, а я напротив приехал совершенно выбритым. Ха-ха-ха!

Да, никакие слухи не достигали этого мирного приюта. Сколько событий случилось в этот год новициата! И король голландский умер, и св. мощи Наполеона перенесены были с острова св. Елены в Инвалидную палату, прусские воины шли на помощь султану против Египетского паши — а я ничего об этом не знал и слыхом не слыхал.

Новициат.

(1840—1841).

Te souviens-tu?.. mais ici je m'arrête,
Ici finit tout noble souvenir;
Vieux camarade, ah! viens dans ma retraite,
Attendre en paix un meilleur avenir,
Et quand la mort, planant sur ma chaumière,
Vient m'appeller au repos qui m'est dû,
Tu fermeras doucement ma paupière, en me disant:
Soldat! t'en souviens-tu? [2]

Старая песня.

Отец Отман, maître de novices, еще не воротился из Льежа и я покамест оставался под опекою отца Геллерта, префекта гостей (Préfet des étrangers) и любезного frère Meyerr. Однакож мне тотчас дали работу. Каждый новиций при вступлении в монастырь должен собственноручно переписать все правила и постановления ордена (Regulae et Constitutiones Congregationis SS-mi Redemptoris) для того, чтобы иметь свой собственный экземпляр. Это мне очень понравилось: „для того, чтобы исполнять закон, надобно его хорошо знать". Итак я с большим усердием принялся за эту работу. Между

[1] Составить мне компанию.

[2] „Ты помнишь ли?... но здесь я останавливаюсь, здесь кончается всякое благородное воспоминание; старый товарищ, пойдем вместе в мое убежище ожидать лучшего будущего, и когда смерть, витающая над моей хижиной, даст мне заслуженный покой, ты тихонько закроешь мне глаза, сказав: Солдат! ты помнишь ли?"—Цитируемые Печериным строки представляют последнюю строфу популярной французской песенки, созданной в конце 20-х г. г. французским поэтом-песенником Дебро (Dèbraux); в ней униженному положению Франции после реставрации Бурбонов противопоставляются воспоминания о былой славе эпохи революционных и наполеоновских войн.

тем приехал о. Отман и первою его заботою было доставить мне более приличное одеяние. В обильном гардеробе новициата, где целыми слоями лежали сброшенные светские одежды ветхого человека—разных поколений, он сам выбрал очень хорошенький, даже щегольской сюртучек и надевая его на меня, повторял: pauvre jeune homme! pauvre jeune homme! [1]

После этого он потребовал от меня выдачи всего моего имущества. „Voilà tout ce qui me reste après mes débours-sements!“ [2] сказал я с видом и тоном человека, только что истратившего несколько тысяч,—и подал ему мелкими деньгами каких-нибудь пять или шесть франков. „Это вам тотчас же будет возвращено, если вам случится оставить этот дом“.—Вот где коммунистам надо учиться. В новициате понятие собственности вовсе не существовало. Никто даже одежды своей не смел называть своею, потому что настоятель каждую минуту мог взять ее и отдать другому. Нарочно периодически переводили из кельи в келью для того, чтобы новиций не имел времени привыкнуть к ней и считать ее своею. О деньгах и помину не было. Никакая мысль о корысти и стяжании не была возможна. Все было общее: всякий получал все, что ему нужно, из рук настоятеля. Не это ли идеал сен-симонизма, где верховный отец, Père Supreme, держит в руках своих все богатства мира и раздает их каждому смотря по его нуждам и заслугам? В 1844, когда я был уже священником, проезжая из Парижа в Бельгию, я заехал в St.-Acheul повидаться с Гагариным [3]. Он тогда был свежим и благочестивым новицием. Мне пришлось в его присутствии вынуть кошелек для того, чтобы расплатиться с извозчиком. Он смотрел на это с каким-то священным омерзением: „Ох! уж эти деньги! какая это гадость!“—А теперь он ежегодно получает из России 12.000 франков. O sainte pauvreté! paure homme!! [4] Прими теперь в соображение, что иезуиты вообще стараются заманить в свой орден богатых и знатных, и ты можешь себе составить понятие о том, какие несметные у них накопились богатства и как могущественно их влияние даже не в католических странах—вот и Россия платит им ежегодную подать.

О. Отман собственноручно остриг меня под гребенку по-солдатски и ввел меня в общество новициев. Их было 13—все молодые люди от 18 до 25 лет. Трудно бы где-нибудь найти более благовоспитанных юношей, с лучшими манерами, с более утонченною вежливостью. У нас при мысли о семинарии или монастыре обыкновенно рождается понятие о гру-

---

[1] Бедный молодой человек! бедный молодой человек!
[2] Вот все, что осталось после моих трат!
[3] См. примеч. на стр. 119.
[4] О, святая бедность! бедный человек!!

бом обращении, о варварских эпитимиях, ругательствах и побоях; а здесь, в этом новициате, не было даже и тени принуждения; это было в полном, буквальном смысле добровольное повиновение из веры и любви. Из уст начальника новициев, Maître des Novices, я никогда не слышал ни одного грубого слова, а во взаимном обращении новициев никто не осмелился бы сказать чего-либо оскорбительного для чьей-либо личности. Два раза в неделю был Капитул (Chapitre), где в присутствии всех собратий каждый обвинял себя в мелких нарушениях устава, причем начальник новициев давал кроткое и дружелюбное увещение: все это делалось открыто, публично и таким образом был пресечен путь к всякому шпионству и наушничеству. Да, отец Отман был действительно homme profond,[1] по выражению отца Манвиса: он был мастер управлять людьми и казалось следовал правилу Жорж Занда: „Regner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs" [2]. Он может быть потому был так либерален, что сам ни во что не верил, и вот этому доказательство.

25-числа каждого месяца была особенная служба или молебствие в новициате в честь младенца иисуса. Крошечная церковь новициев была разукрашена цветами: в яслях на соломе лежала французская кукла божественного младенца, перед нею новиции с большим умилением распевали священные гимны. Однажды в этот день настоятель (Maître des Novices), повидимому углубленный в молитву на коленях перед яслями, вдруг громко расхохотался. Новиции нимало этим не смутились: они только шептали друг другу: это исступление! extase! Это видение! vision! Ему богородица привиделась! la Vierge lui a apparu! — Но и о. Отман все-таки нашел нужным объясниться: „Любезные братья!" сказал он: „среди ваших священных песнопений мне вдруг пришла на мысль суета и ничтожность всего земного: как мало мы делаем для бога и как все это примешано самолюбием и тщеславием, так невольно расхохочешься!" Il s'ést tiré d'affaire comme un vrai philosophe [3].

Началась однообразная, правильная, законная жизнь новициата: каждый час, каждая минута имела свое назначение. В половине пятого каждое утро звонили в колокол. Каждый вспрыгивает с постели, как будто бы пожар в доме; брат прислужка отворяет дверь со свечою в руках и говорит: Benedicamus domino, на что отвечают: Deo gratias [4]. Наскоро умывшись, все идут в церковь на хоры, где происходит утреннее размышление, méditation du matin. Дежурный монах читает вслух один или два пункта. Вот образчик

[1] Глубокий человек.

[2] Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами.

[3] Он вышел из положения как истинный философ.

[4] Восхвалим бога — благодарение богу.

этих медитаций, взятых из книги иезуита Крассе (Crasset. Méditations). „I-er point. Il n'y a point de pénitence qui voit de plus grand mérite, que d'accepter la mort en satisfaction de ses pèchés. L'homme ne peut rien donner à Dieu que égale le sacrifice de sa vie. — Je vous donne, mon Dieu, pa ramour, la vie, que la mort m'arrachera de force. Je donne à la charité ce que je ne puis refuser à la nécessité“ [1]. Все в глубоком молчании на коленях обязаны размышлять четверть часа об этом пункте; потом лишь только часы пробьют четверть, опять читают 2-й пункт, все опять размышляют и тем кончается медитация. После этого следует обедня и очень легкий завтрак, состоящий из чашки кофе с хлебом и маслом (une tartine), а затем ряд духовных упражнений и ручной работы. Ручная работа состояла в том, чтобы копать что-нибудь в саду, выметать сор и мыть пол в коридорах, мыть посуду на кухне и шелушить разные овощи, помогая повару, прислуживать за столом и пр. Тут все состояния были уравнены, и богач и бедняк одинаково работали. В 12 часу был обед, в продолжение коего чтец на кафедре читал сначала главу из св. писания, а потом историю церкви. После обеда был целый час роздыха (récréation): новиции с своим Maître ds Novices гуляли по саду и забавлялись благочестивыми, а иногда и очень смешными рассказами из жития святых .После этого тот же ряд духовных упражнений и ручных работ (travail manuel) до 7-го часу: тут опять вечерняя медитация (méditation du soir), ужин и роздых (récréation) в том же порядке; в 8-м часу вечерняя молитва и все, поцеловавши руку настоятеля и получив его благословение, отправлялись в свои кельи. В половине 10-го один удар колокола возвещал ночной покой: каждый спешил потушить свечу и броситься на постель, — с большим удовольствием после утомительного однообразия этой правильной жизни. Кроме двух часов роздыха (récréation) после обеда и ужина, в новициате господствовало ненарушимое молчание: никто не смел говорить ни слова: случайно встречаясь в коридорах, новиции только учтиво раскланивались, не раскрывая рта. Признаюсь, после нескольких лет бродяжной жизни и всякого рода политической и литературной болтовни, это молчание было для меня истинным наслаждением. Я понял то, что прежде для меня было непостижимым — т. е. как Пифагор заставлял своих учеников хранить молчание впродолжение пяти лет. Латинские народы сгнили до корня и нет надежды на их возрождение, потому что они слишком много болтают: во многоглаголании несть спасения.

---

[1] (Крассе. Размышления). „I-й пункт. Нет наказания тому, кто видит величайшую заслугу в том, чтоб принять смерть в возмещенье своих грехов. Человек не может отдать богу большей жертвы, чем его жизнь. — Я тебе отдаю, господи, из любви — жизнь, которую смерть вырвала бы у меня силой. Я отдаю милосердию то, в чем я не мог бы отказать необходимости“.

Вот как прошел целый год *искуса* в новициате до сентября 1841. Я уже приготовлялся в глубоком уединении к произнесению трех обетов—voeux de pauvreté, chasteté, et obeissance [1], как вдруг Maître des Novices входит в мою келью с несколько расстроенным видом: „Один из ваших старых знакомых—какой-то M-r Lecointe—желает вас видеть; но он ужаснейший человек, с огромнейшею бородою: хотите вы его принять?“ — „Почему же нет?“ отвечал я: „я могу с ним немножко поговорить.“ — Я отправился в приемную. Невозможно вообразить себе большего контраста: Лекуант сделался отчаянным республиканцем и отпустил себе бороду до пояса, а я уже был в монашеской рясе с четками за поясом, обритый на голо и остриженный под гребенку. Я встретил его с сдержанною и холодною вежливостью, как будто никогда не был с ним коротко знаком. Наш разговор превратился в какую-то контроверзу, к которой после примешался и Maître des Novices. *Лекуант* уехал и возвратясь в Льеж говорил всем знакомым: „Нет! уж непременно редемптористы напоили Печерина каким-то зельем: нельзя же человеку так вдруг перемениться!“ А это *зелье* было ничто иное, как русская переимчивость, податливость, уменье приноровиться ко всем возможным обстоятельствам... Если бы какая-нибудь буря занесла мой челн на берег Цейлона и я бы нашел там приют в каком-нибудь монастыре буддистов,—я бы также ревностно исполнял все их правила и постановления (règles de constitution), потому что выше всех философий и религий у меня стоит *священное чувство долга*, т. е. что человек должен свято исполнять обязанности, налагаемые на него тем обществом, в коем судьба привела ему жить: где бы то ни было, в Китае, Японии, Индостане, все равно!

В 1861 я носил белую одежду траппистов, работал с ними на поле в глубоком молчании, питался их гречневою кашею и молоком и ничем больше, и они были от меня в восхищении: „Ведь он, кажется, рожден для этой жизни! Как он легко ко всему приноровился!“ Но это продолжалось всего каких-нибудь шесть недель, пока оно имело прелесть новости и пока я не услышал случайно от одной русской дамы о важных преобразованиях в России. Тут я не мог вытерпеть: „Как же мне живому зарыться в этой могиле и в этакую важную эпоху ничего не слышать о том, что делается в России?“ Итак, 19-ое февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня *эманципировало*! Не пора ли тут остановиться? Te souvien-tu?.. mais ici je m'arrête. Ici finit tout noble souvenir! [2]

---

[1] Обет бедности, целомудрия и повиновения.

[2] Помнишь ли ты?.. Но здесь я останавливаюсь. Здесь кончается всякое благородное воспоминание.

Римский папа и русский генерал фон-Берг.

Нет, любезный Чижов, тебе не следует извиняться передо мною. Мне даже становится стыдно отнимать у тебя драгоценное время, посвященное столь важным и полезным занятиям. Но что ж делать? Так уж судьбою решено: одним она дала на долю—действовать, а другим—мечтать. Je fait mon pacte definitif avec le diable, et le diable c'est la pensée. [1]

В эти каникулы [2], как ты их называешь—одна мысль владела и владеет мною: Западной Европе предстоит важный религиозный перелом. Мне кажется, я уже слышу предсмертный бред католицизма.

Какая странная перемена! Эта консервативная, аристократическая, придворная церковь—задушевная приятельница всех деспотов, прикрывшая своею мантиею вековые злоупотребления власти,—вдруг превратилась в отчаянно-революционную демократическую церковь: ее священники сделались демагогами, вождями невежественной и буйной черни; сам первосвященник с высоты святого престола призывает народы к восстанию против законов и властей. Папа до того забыл, что он некогда был государем, что без малейшей дипломатической сдержанности (réserve) он толкует просто как старая баба или—если это оскорбительно—как сельский священник, предающий всех и каждого вечным огням геенны. Вот христианство, доведенное до absurdum! [3] Какое торжество для иудеев! Итак они пережили своего лютого врага! Вот этот выскочка из их семьи! вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах,-а теперь оно издыхает от старческого изнеможения перед глазами этих же самых иудеев. А у них все осталось попрежнему: они не устарели—они вечно юны и будущее им принадлежит. Они везде блистают умом—в науке, в искустве, в торговле; половина европейской прессы в их руках. Закон их не изменился ни на одну иоту, они поклоняются тому же единому богу Авраама, Исаака и Иакова, и на них буквально исполнились слова их пророка: „Вы будете опекунами, отцами-благодетелями, кормильцами властителей мира. Цари вас будут на руках носить“ и пр. Какое блистательное исполнение пророчества! Какому государю не пришлось сказать Ротшильду: „Отец ты мой, благодетель; помоги, ради бога! пришла крайняя нужда; охота смертная да участь горькая: хочется воевать, да денег нет! сделай божескую милость, одолжи несколько миллионов!“—Даже сам папа, если не

---

[1] Я заключил свой окончательный договор с дьяволом, а дьявол—это мысль.

[2] Этот отрывок написан в июле 1872 г.

[3] Абсурда.

ошибаюсь, не раз прибегал к Ротшильду (смотри Второзаконие гл. 15.8. „Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам ни у кого не будешь занимать; ты будешь господствовать над многими народами, а они не будут господствовать над тобою“). И даже наш железный Николай должен был преклонить перед ним голову и принужден был выдать ему именье Герцена. [1] Велик бог Моисеев! Да воскреснет бог и расточатся врази его и да бегут от лица его ненавидящие его!

Я, разумеется, на все это смотрю со стороны равнодушным зрителем: из чего же мне тут хлопотать? Принять деятельное участие в этой суматохе pro или contra [2] было бы смешно: это было бы в чужом пиру похмелье. Le jeu ne vaut pas la chandelle [3]. Покойный Филарет на экзамене Бажанова в нашем университете сказал именно мне, что все события мира сего проходят пред очами господа бога, как будто в зеркале: он равнодушно глядит на них и не мешает им проходить. C'est le Dieu fainéant d'Epicure! [4] Вот так и я гляжу на события.

„Я согласен с вами, что католическая религия иногда очень полезна правительствам, потому что она помогает им держать народ в узде“. — Угадай, кто это сказал в моем присутствии отцу настоятелю де-Гельду — в Клапаме, в Лондоне? — Никак не угадаешь. Раз, два, три — не угадал? Jetez votre langue aux chiens! [5] Это был ни больше ни меньше как генерал (теперь граф или князь) фон Берг, тот самый, что после был наместником в Варшаве... Да как же это? На что ж это похоже? Как же фон Берг-то забрел в Лондон, да еще в Клапам, в монастырь редемптористов? А вот как.

В шести милях от Лондона есть прелестнейшая местность — Ругамптон (Rochampton). Там поселились иезуитские монашенки, сестры пресвятого сердца (sacré coeur) (Какая галиматья!) Они купили виллу или лучше сказать дворец какого-то богача с огромным садом, с оранжереями, прудами, фонтанами. „Тут — как говорит капитан Копейкин — полутора-саженные зеркала, мраморы, лаки, сударь ты мой . . . словом, ума помраченье! ковры — Персия, сударь мой

[1] Печерин имеет в виду известный эпизод с попыткой Николая I наложить арест на деньги Герцена, от которой русский самодержец должен был, однако, отказаться под влиянием требований банкира Ротшильда, которому Герцен передал свои векселя. Эпизод этот описан Герценом в „Былом и Думах“ в главе, озаглавленной „Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов“ („Былое и Думы“, т. II, стр. 126-140, ГИЗ, 1931.). Она первоначально была напечатана в 4-й книге „Полярной Звезды“, вышедшей в 1858 г., и затем повторена в IV томе заграничного издания „Былого и Дум“, в 1867 г. Печерин мог пользоваться обоими источниками.

[2] За или против.

[3] Игра не стоит свеч.

[4] Это бог-лентяй Эпикура

[5] Бросьте ваш язык собакам.

такая. . . словом относительно, так сказать, ногой попирает капиталы.“ Эти сестры du Sacré Coeur обыкновенно держат пенсион для девиц высшего разряда du haut ton, для богатых и очень богатых людей. Даже католики в Лондоне говорили, что человеку среднего состояния никак невозможно поместить дочери в этом пансионе; привыкнувши к этому дворцу и садам, ей нельзя уж выйти замуж за обыкновенного смертного: ей уж надо в женихи какого-нибудь принца, который один мог бы доставить ей такие палаты.

В то время я был в большой моде у лондонских католиков, а особенно у французских дам, которых тогда было значительное количество в Лондоне после революции 1848 г. Настоятеля отца де-Гельда пригласили honoris causa[1] давать духовные упражнения сестрам св. сердца в Ругамптоне; но он скоро сам увидел, что это ему не по силам, тем более, что его французское произношение немножко пахло немечиною; итак он отрядил меня исправляющим его должность. Несмотря на близкое расстояние он дал мне денег на железную дорогу. Я пришел на станцию, купил себе билет и гляжу—мой поезд стоит на противоположной стороне рельсов и уже готовится к отъезду; я опрометью бросился через рельсы, ухватился за ручку кареты и сильно старался отворить дверцы, а тут мне изнутри кричат: „Назад! Назад! вот экспрес!“ Ты вероятно знаешь, с какою неимоверною быстротою несется английский экспресс. Я отчаянно бросился назад через рельсы. Смерть на огненных крылах пронеслась мимо меня, едва, едва не задела, жизнь моя висела на волоске. . . Я до сих пор никому об этом ни слова не сказал и хранил это как заветную тайну чудного избавления. Когда экспресс пронесся, у меня отлегло на душе; а между тем мой поезд ушел; я спокойно положил свой билет в карман и отправился пешком. Я прошел эти три мили между зелеными лугами и рощами с чувством неописанного блаженства. Мне казалось, что я праздновал день моего рождения, что мне снова дарован был неоцененный дар жизни. Бодрым и свежим я пришел в Ругамптон, а там, по монастырскому обычаю, меня прежде всего хорошенько накормили и потом пригласили на конференцию. В большой зале с золотыми карнизами и зеркальными стенами я уселся в комфортабельных креслах, а перед мною полукружием сидели les dames du sacré coeur[2], между коими была и кузина Наполеона III. Я был что называется в духе и конференция моя отлично удалась. Я говорил очень развязно по-французски и с разными прибаутками pour plaire à ces dames[3]. Они были мною очарованы и пригласили меня на их публичный экзамен и раздачу премий.

---

[1] Ради чести.

[2] Дамы священного сердца.

[3] Чтобы понравиться этим дамам.

Настал день: со всех концов Лондона привалили посетители — la fine fleur de la société catholique[1]. Тут была выставка всех талантов: и проза, и стихи, и отрывки из разных опер на фортепьяно и на арфе, и вереница прелестных девушек от 14 до 20 лет. Подле меня сидел молодой иезуит Padre Terrara, убежавший из Сицилии (1849). Когда стали разыгрывать пьесы из Norma, я сказал моему соседу: „Как это мне знакомо. Когда я был в Риме, я целый месяц каждый вечер слушал эту оперу." Мой иезуит ужасно как этим соблазнился — s'est scandalisé, и чтобы прикрыть этот скандал и позор, сказал: „Вероятно вы слышали эту музыку на улице; ведь у нас, вы знаете, народ распевает по улицам оперные арии". — „Нет! нет! извините," сказал я: „Я слушал эту оперу каждый вечер в самом театре; но только не забудьте, что я тогда не был ни священником, ни даже католиком". — „Ну, так это другое дело!" отвечал он и совесть его успокоилась.

По окончании экзамена следовало епископу сказать речь, но он сам уступил мне место и просил меня сказать несколько слов этим молодым девицам. Я сказал нечто в этом роде, что с блистательным воспитанием, какое они получили в этом институте, им суждено играть важную роль в обществе, быть царицами салонов в высшем и благороднейшем смысле, т. е. как говорит Жорж Занд, властвовать умом над умами, сердцем над сердцами — régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs и пр. После закуски мы все разбрелись по саду и тут я имел случай познакомиться с любезною соотечественницею m-lle von Berg. Она была девушка лет 18-ти — одно из тех милых существ, которых воспоминание на старости так же отрадно, как ключ свежей воды в пустыне аравийской. Где и что она теперь? — вероятно давно замужем — почтенная дама лет за сорок. Блистает ли она умом, властвует ли над сердцами в гостиных? или может быть она сделалась прозаически доброю хозяйкою и носит стеганой халат. Скажи ради бога, носишь ли ты стеганой халат? Всего более меня ужасал в России стеганой халат. Как теперь помню — директор временной комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста, генерал Метлин встретил меня с важно-глупым видом — в стеганом халате.

В 1851 году papa и mama девицы фон Берг приехали в Лондон кажется для того, чтобы взять ее из пансиона домой. Она столько наговорила им обо мне, что убедила их приехать в Клапам познакомиться со мною. Они приехали в собственной карете, кучер и лакей были какие-то австрийские поляки. Генерал был очень любезен и с большою деликатностью не вошел ни в какие расспросы о том, как и почему я, русский,

[1] Сливки католического общества.

попал в этот Лондонский монастырь. Но жена его, австрийская католичка — господи боже мой! простота хуже воровства! — тотчас взяла меня в сторону и показала мне какое-то письмо генерала, где выражались очень добрые христианские чувства благочестивого лютеранина. „Возьмите его на минуту в сад, так погулять немножко, да потолкуйте с ним об религии“. — Какое ребячество! Такого государственного человека — как фон Берг повести в монастырский сад и в каких-нибудь пол-часа стараться убедить в истине католической веры — этакой глупости я никогда не взял бы себе на душу. Но настоятель отец де-Гельд нашел нужным хоть мимоходом замолвить слово в пользу своей веры, на что и получил в ответ выше приведенные слова генерала, которые я принял за пощечину.

Еще слово о Ругамптоне. Кардинал Вайзман был чрезвычайно честолюбивый и тщеславный человек, какими обыкновенно бывают люди из нисших или средних слоев общества, поднявшиеся на высшие ступени иерархии. Когда он был просто епископом в Лондоне, он был со всеми нами за панибрата, но лишь только он возвратился из Рима кардиналом — фу-фу! сказала бы баба Яга — тут римским духом пахнет! так за версту несет кардиналом! Prince de l'église! [1] Ни на кого смотреть не хочет. В этом самом Ругамптоне я видел кардинала Вайзмана, как он в своей блестящей пурпурной рясе приготовлялся к какому-то священнодействию, а между тем одна из сестер св. сердца, сидя за богатым фортепьяно под золотыми карнизами, оперным голосом распевала: O.sainte pauvreté! ma mère! [2] Возможно ли вообразить себе что-нибудь смешнее этого разлада между словами и действительностью?

В „Русском архиве“ напечатано письмо Шевырева из Флоренции (1861). [3] Знаешь ли, что всего более поразило меня в этом письме? — Детский взгляд на вещи, резко обличающий незрелость русского ума. Хорошо, напр., заключение: „На что-нибудь да бережет же нас бог, когда безбожники гонят долой с лица земли. А сколько их развелось и как они гуляют из России по Западу, под эгидою Герцена!“ — Ох! уж как это старо! это напоминает блаженной памяти адмирала А. С. Шишкова и собратию. Вот еще образчик: „Покойный Костя Аксаков был бы у нас Гарибальди, если бы не сгубил его Гегель и поняла бы Россия!“ Мне кажется, это то, что англичане называют Moonchine т. е. нечто такое, что мерещится при бледном свете луны. Итак прощай — скажу ли до свидания?

---

[1] Князь церкви.

[2] О, святая бедность! моя мать!

[3] Печерин имеет в виду письмо С. П. Шевырева к М. А. Максимовичу от 13 апреля 1861 г., напечатанное в жур. „Рус. архив“ за 1872 г., стр. 1208—1210.

Viens, camarade, ah! viens dans ma retraite,
Attendre en paix un meilleur avenir! [1]

Первая проповедь.

Я исполняю твою просьбу и буду писать — но наобум, так, что в голову взойдет, à bâtons rompus [2], а ты после, как мудрый Лизистрат [3], соберешь эти гомерические рапсодии и соединишь их в одно целое и после скажут: „какое удивительное единство!“

Писать историю монаха — не легкая вещь! Ведь история предполагает события, т.-е. борьбу разума со страстями, а в настоящем монастыре эти оба труженика, т.-е. разум и воля, давным давно отпеты и похоронены. История монаха — то же, что история карманных часов. Вот ты их завел и они идут: стрелка медленно передвигается от секунды до секунды, от минуты до минуты, от часа до часа, в продолжение 24 часов. Вот так и жизнь монаха.

„Ну, да тут есть разница: у часов нет мозга, нет мысли, а у монаха есть“. — Правда, мысль у него есть, но ведь и она тоже заведена и медленно движется от утренней молитвы до псалмопения, до обедни, от обедни до духовного чтения, от обеда до ужина, а потом ее кладут спать, а поутру часов в 4 или 5 опять ее заводят. Наконец мысль превращается в какой-то ржавый механизм, как напр. у траппистов, где не позволяется ни говорить, ни читать, ни мыслить, где вся жизнь проходит в пении псалмов и земледельческих работах — там мысль улетучивается и совершенно исчезает — человек падает ниже скота и живет уже какою-то прозябательною жизнью. Для кого же эта история может быть занимательною?

К счастью по окончании моего искуса в 1841 меня перевели из Сен-Трона в Maison d'études [4], т.-е. Виттем. Там, заметя мои способности, меня тотчас сделали профессором истории, греческого и латинского языков. Я далеко превзошел их ожидания и желания: даже после жаловались, что я уже слишком многому учил этих молодых людей, — и вовсе не по их званию. Но это вносило разнообразие в мою жизнь: я имел позволение заниматься светскими предметами.

---

[1] Приди, товарищ, о, приди в мое уединение, мирно ожидать лучшего будущего!

[2] Урывками.

[3] Печерин имеет, вероятно, в виду древне-греческого скульптора, который по преданию первый снял гипсовую маску с живого человека.

[4] Школа, семинария.

Виттем прежде революции был францисканским монастырем — кельи были ужасно узкие: едва было довольно места для кровати и маленького столика; да сверх того зимою тут топилась чугунная печка — жар был несносный: мне не раз случалось вздремнуть над духовным чтением. Но за то я нашел приятное развлечение, когда для упражнения в латинском языке я читал письма Цицерона. Теперь еще помню одно письмо, где Цицерон рассказывает, как он неожиданно попал в большое общество, где он встретил одну известную того времени красотку, нечто в роде теперешней кокотки. Старик извиняется тем, что он вовсе не знал, что она там будет. Я нашел в библиотеке „Беседы“ Иоанна Златоуста. Это книга моего детства. Покойная матушка моя Пелагея Петровна обыкновенно сидела в библиотеке деда моего Петра Ивановича Симановского и заставляла меня читать себе эти беседы в славяно-русском переводе. С тех пор я всегда их любил и они меня предохранили от подражания нелепым французским проповедям.

В 1843 по принятии священства в Льеже (о чем будет после) я возратился в Виттем и тут меня сделали профессором красноречия и немедленно заставили меня на деле показать мое уменье. Мне назначено было говорить проповедь на немецком языке о выгодах истинной веры и о несчастии лишиться оной, причем намекнули, что не худо бы сказать слова два о преследовании католиков в России. Я ни мало не сробел — гляжу в половине проповеди, а уже одна женщина утирает себе глаза. „Дело выиграно!“ сказал я самому себе и — пошел, пошел и кончил среди слез и стенаний моих слушателей. Очень недурно для первой попытки. Ректор отец. Гейлиг сказал мне: je vous fais mon compliment: vons serez un bon prédicateur. [1]

Некоторые из братьев прислужников как-то выпрямились от восторга и смотрели на меня с особенным умилением, как будто бы они в первый раз услышали что-то дотоле неслыханное. На другой день весь Ахен говорил об этой проповеди. И неудивительно: это была новость для народа, привыкшего к правильным, математическим, размеренным, бесчувственным проповедям на французский лад! Тут есть приступ, предложение, разделение, и непременно три пункта — наполни их чем хочешь, какою хочешь дрянью, без трех пунктов (trois points) обойтись нельзя, а там следует убеждение и заключение. Точь в точь как говорят ученые по церквам!

Поздравляю вас: вы будете хорошим проповедником.

Переезд в Англию.

(1844—1845).

To the west, to the west! to the land of the free! [1]

Американская песня.

„Как вам это покажется, если мы вас перебросим через канал в Англию? Согласны вы?“ Так говорил мне улыбаясь почтенный отец де-Гельд, тогдашний провинциал Бельгии (Père Provincial). Это было за несколько дней до твоего последнего посещения в Виттеме в сентябре 1844. Я душевно был этому рад. Новая более свободная жизнь миссионера, новый край, новые приключения и волшебное обаяние Англии — все меня туда влекло. На другой день после твоего отъезда меня отправили в Брюж — поближе к морю. Тут был только маленький домик с одним отцем редемптористом и братом прислужником. Меня заставляли несколько раз проповедывать в Брюже для того, чтобы привлечь внимание живущих там английских католиков. Это значило: „Вишь какого мы к вам посылаем!“ Тотчас после рождественских праздников меня с молодым товарищем — миссионером, отцем Лудвигом послали в Остенде. После 3 или 4-летнего заключения в монастыре, я совершенно отвык от путешествия и меня, как ребенка, посадили на пароход, всунув мне в руки 5 фунтов на дорогу до Фальмута. После 20-часового благополучного плавания мы вошли в Темзу и остановились у пристани — 1-го января 1845 г. в 3 часа пополудни. Незабвенный день и час! его надо золотыми буквами начертать на скрижалях моей жизни.

После небольших (в тогдашних размерах) континентальных городов Берлина, Брюсселя, Льежа, Лондон изумил меня своею огромностью; тут все было колоссально-величаво; это была неизмеримая пустыня, беспредельный океан. Я совершенно растерялся и не знал, как и шагу ступить. У самого парохода встретил нас почтенный Г. Лайма (Lima), будущий учитель маленькой школы, заведенной нами в Фальмуте: он был добрейший человек, но чрезвычайно серьезный и важный и имевший самое высокое понятие о своем звании. Он взял нас с нашими пожитками и повел в небольшую гостиницу на Fleet Street. Это было очень скромное убежище, но вместе с тем она была удивительно как опрятна и уютна. После шуму и гаму бельгийских и французских трактиров, отрадно было найти тут совершенный порядок и тишину, так что я мог спокойно сидеть в общей зале и заниматься чтением, как

---

[1] **На запад, на запад, в страну свободных!**

будто в своей келье. Мы пробыли два или три дня в Лондоне по делам моего будущего спутника Г. Лайма, но я все время сидел в гостинице и не осмеливался пуститься в Лондонский океан.

Весь мой старинный дух приключений, казалось, совершенно покинул меня. Только один раз я отправился в сопровождении Г. Лайма отыскивать какого-то польского поэта (имени не помню), к коему я имел поручение от отцов вознесения (Pères de la Resurrection) в Париже. Несколько польских офицеров, покрытых рубцами доблестных ран, добытых на поле сражения за отчизну, вступили в духовное звание и в самый день светлого христова воскресения основали нечто в роде монашеского ордена; но под этим титулом воскресения они скрывали другой таинственный смысл, т. е. воскресения Польши. В благодарность за какие-то красноречивые и патриотические слова этого поэта они послали ему через меня письмо с пером в бисерном чехле. Перо я как-то затерял, и доставил ему только письмо. Ничего не могу сказать об этой личности: я пробыл с ним всего несколько минут, потому что Г. Лайма ожидал меня в передней.

В моей маленькой гостинице все мне казалось как-то знакомым: этот камин с пылающими угольями и четвероугольным зеркалом и даже эта рыжеватая кошка, гревшаяся у огня — все это я прежде видел на английских эстампах. Поутру часу в одиннадцатом вдруг настала такая египетская тьма, что принуждены были засветить газ: вот и пресловутый лондонский туман!

Я привез с собою большой сундук с разными церковными утварями, за что меня на таможне порядочно обобрали до такой степени, что я принужден был некоторые вещи, напр. картинки, оставить там же на таможне. После этого кошелек мой очень истощал: этого не предвидел почтенный отец Провинциал, думавший что 5 фунтов мне достанет до Фальмута, т. е. до самого крайнего юго-западного конца Англии. А тут еще на беду товарищ мой, отец Лудвиг, тоже оказался без гроша и вымолил у меня несколько денег для того, чтобы доехать до места своего назначения, которое было гораздо ближе в Worcestershire. В этаких стесненных обстоятельствах с еле-еле дышащим кошельком мы, т. е. я с учителем Лайма, выехали из Лондона. Нам прежде следовало ехать в Bath (Бат), представиться там нашему епископу доктору Бриггсу (Briggs). Мы покатились по железной дороге.

Какая прелесть—Англия! Несмотря что это было в январе, светлая река Трент тихо струилась между зелеными бархатными лугами, и тихо паслись красные коровы. Опять старое воспоминание! Опять английский пейзаж! О Бафе ничего сказать не могу, потому что вовсе его не видел: мы

прямо со станции отправились за город в Prior Park. В старые годы тут жил знаменитый поэт Поп (Pope), а теперь оно перешло в руки католиков и в нем помещался епископ с несколькими священниками и семинариею. Это был просто дворец с колоннадами и великолепным парком. Мы приехали к самому обеду, т. е. около 4 часов. Епископ садился за стол. В то время духовных лиц, приезжавших с материка принимали с отверстыми объятиями, и английское духовенство не было, как теперь, проникнуто ультрамонтанскими идеями, а сохраняло большую долю свободного английского духа. Епископ принял меня очень радушно. Я подал ему (вовсе ненужное) рекомендательное письмо от проживавшего в Париже русского француза Ермолова, знавшего его в Риме. Учитель Лайма ожидал в передней, но епископ и его пригласил с нами за стол и мы славно пообедали, особенно я помню два отличных английских пуддинга. Епископ должен был немедленно ехать в Бристоль, где ему следовало говорить проповедь на следующее утро, в день богоявлении (epiphany); он предложил мне, на выбор или тотчас же ехать вместе с ним, или остаться здесь, поотдохнуть и осмотреть заведение. Я предпочел последнее.

Мне отвели тихую роскошную спальню с кабинетом, какой я от роду не видывал. На следующее утро звон колокола призвал нас к торжественной обедне. По английскому обычаю в рождественские праздники церкви и дома украшены зеленью, т. е. гирляндами плюща или того, что называется holly. Я нашел тут более простоты и вкуса, чем в бельгийских церквах, где церковные украшения часто сбиваются на кукольную комедию или на вызолоченные пряники. Проповедь была по-нашему, т. е. просто читана с тетради без декламации и жестов. Англичане терпеть не могут итальянского размахивания руками и поддельного французского энтузиазма: они может быть и правы. Кто на сколько-нибудь знаком с писаниями святых отцов, напр. Иоанна Златоуста и блаженного Августина, тот должен знать, что их краткие и простые поучения не допускали никакой декламации, а их длинная и широкая одежда не позволяла им разгуливаться по кафедре.

В тот же день мы отправились вслед за епископом в Бристоль, где и приютились в скромной гостинице. Ввечеру мы имели удовольствие слушать проповедь его преосвященства, в ней он показал свою ученость, рассуждая о наших русских расколах. После проповеди епископ пригласил меня с Г. Лайма на обед к себе в гостиницу. Его гостиница находилась в Клифтоне (Clifton), т. е. в самой модной и великолепной части Бристоля, где дома, выстроенные на террасах, все глядят дворцами. Это был особенный обед для духовенства и других католических

лиц. За столом председала хозяйка, пожилая тучная дама в огненно-красном платье с тюрбаном (turban) на голове. Было еще несколько дам. Разговор был очень приятный и разнообразный, без малейшего клерикального педантизма. После обеда довольно поздно мы встали и, раскланявшись с честной компаниею и испросив благословение епископа на предстоящий нам путь, отправились в свою гостиницу, которую с трудом могли отыскать среди запутанных улиц старого Бристоля.

Пришедши в гостиницу, нам вдруг представился вопрос: как нам теперь быть? До самого Фальмута в то время еще не было железной дороги, а часть пути надобно было делать в Coach'е или дилижансе. Но ни на железную дорогу, ни на дилижанс у нас денег недоставало — что ж тут делать? Чего бы кажется проще — обратиться к епископу и попросить у него денег. Ведь я был его подчиненным и ехал по его же делу — ничего не могло быть естественнее. Ах, нет! У меня была самая нелепейшая деликатность. Я вовсе не годился быть священником, а всего менее монахом, потому что у меня не было дара — просить денег...

Г. Лайма, знавший всю подноготную в этой части Англии, припомнил, что из Бристоля дешевое судно ходит прямо к берегам Корнвалля (Cornwall). Вот оно и коротко и дешево! Magnifique et pas cher! На следующее утро мы записались в число пасажиров. Это было очень плохое и ненадежное судно, на коем обыкновенно перевозили скот и — бедных людей! В ожидании отплытия, мы присели в кабачке выпить стакан пива, и при этом случае я видел английскую кухню, доведенную до самого простого выражения: какой-то путешественник из простого народа схватил на вилку большой кусок сырого мяса и, подержав его несколько минут над огнем камина, принялся кушать без дальнейших церемоний. Это именно, как ты называешь, простое блюдо без малейшей примеси французских или итальянских соусов.

Однако ж пора ехать. Для предохранения от морской болезни я запасся куском сырого копченого мяса, и оно мне очень помогло, — хотя впрочем я никогда в моей жизни морской болезни не испытывал. Помещение было не очень деликатное: нас закупорили в какой-то деревянной коробочке, где едва было можно двигаться. Плыли мы целую ночь и большую часть следующего дня, и наконец под вечер благополучно вышли на берег и остановились в так называемом Temperance hôtel, т. е. в такой гостинице, где не продают никаких крепких напитков, а вместо их дают вам вдоволь чаю и всяких возможных сластей. Все эти маленькие гостиницы удивительно как опрятны и уютны: все дышит порядком, тишиною и удобствами жизни — одним словом комфортом. Тут мы отдохнули с большим наслаждением, хорошенько

пообедали, напились чаю со сладкими пирожками и потом заснули самым блаженнейшим сном, потому что завтра последний день нашего странствия: мы были каких-нибудь 10 миль от Фальмута. Встаем поутру: погода прекрасная — совершенно весенний день — солнце ярко блистало. „Что ж тут нам дожидаться дилижанса — мы отправим с ним наши пожитки, а сами пойдем пешком. Ведь каких-нибудь 8 или 10 миль не беда. Вишь какой день!“ — Сказано-сделано, и мы отправились в путь.

Ландшафт беспрестанно изменялся — мы все подымались в гору — то холмы, покрытые темным лесом, то глубокие долины с журчащими ручьями, а иногда из-за леса мелькало вечно смеющееся море. Как легкие и сердце расширяются на этом свежем и горном воздухе — вот настоящая жизнь! вот свобода! лети, куда хочешь, как вольная птица! Дорога делает крутой изгиб у подошвы холма, и вдруг открывается великолепное зрелище — весь длинный Фальмутский залив, замкнутый на конце двумя горами, и на одной из них старый замок Pendennis. А вот и начало Фальмута: терраса с красивыми домиками, нависшая над самым морем — еще несколько шагов, и вот наша каплица с крестом и при ней наш скромный домик, обвитый розами и chevrefeuille, на дворе колодец с колесом и все это заросло, заглохло вечно зеленым плющем. Стучим у двери: нас приветствует брат прислужник, frère Felicien, француз, а тут является и будущий мой начальник, большой мой приятель, патер de Buggenoms, бельгиец. — Теперь мы дома. Подавайте скорее чего-нибудь поесть. Г. Лайма бежит домой свидеться с своим семейством: женою, дочерью и маленьким сыном. И так мы в Фальмуте — надолго, надолго — может быть на веки.

Фальмут.

„Какое торжество для святой церкви! Самодержавный властитель 60 миллионов, верховный вождь многочисленного и победоносного войска смирился, как агнец, перед кротким величием св. Петра в лице Григория XVI“. Вот как возглашали католические газеты в 1846 году по случаю свидания императора Николая с папою Григорием XVI [1].

[1] Григорий XVI — Мауро Капеллари, избранный папой в 1831 г. и занимавший папский престол до 1846 г.; ярый реакционер, вызвавший своей политикой резкое возмущение даже в самых умеренных кругах итальянской и европейской буржуазии и беспощадно расправлявшийся со всеми оппозиционными элементами в подчиненных ему землях. Григорий XVI был послушным орудием международной реакции и, в частности, послушным слугой Николая I в борьбе последнего с польским движением. Лично он был типичным представителем монаха-обжоры и развратника. Описанное Печериным свидание Николая I с Григорием XVI происходило в конце 1845 г.

Наша благодетельница г-жа Эдгар (mis Edgar) была в постоянной переписке с ее духовным отцом, шотландским иезуитом Главером в Риме. Он прислал ей подробное описание пребывания государя в Риме. Как евангельская женщина, обретши погибшую драхму, созывает другини и соседы, глаголющи: радуйтеся со мною, яко обретох драхму погибшую; — так и г-жа Эдгар на радости пригласила нас к себе на чай для того, чтобы выслушать это апостольское послание из Рима, в коем между прочим стояло следующее: „Молодой новообращенный в католичество англичанин стоял у самой лестницы, по которой императору надо было всходить во внутренние покои Ватикана. Вот первая сцена. Государь выходит из кареты — в полном мундире с лентою через плечо со всеми орденами и звездами, с лучезарным лицом и, благосклонно улыбаясь направо и налево, он твердым эластическим шагом идет по мраморным ступеням. — Молодец да и только! „Каждый вершок в нем — царь!" как говорил Шекспир. Every inch a King! — Англичанин остался дожидаться его возвращения. Не знаю, долго ли продолжалась аудиенция — час или больше или меньше. — Вот вторая сцена. Государь появляется на вершине лестницы. Какая странная перемена! совсем не тот человек! С крайне смущенным и расстроенным видом, с раскрасневшимся лицом, с крупными каплями пота на челе — он шел каким-то неровным, колеблющимся шагом и до того растерялся, что даже прошел мимо своей кареты, не заметив ее".

Вот история или лучше сказать дух истории по иезуитскому толкованию. При этом надобно заметить, что у новообращенных католиков воображение очень живое, да и совесть очень эластическая, они не считают грехом иногда немножко прилгнуть для вящшей славы святой матери церкви: я готов всему верить и верю, что Николая очень холодно приняли в Риме, что ему никто не ломал шапки, что римская аристократия не отверзла перед ним своих мраморных палат — все это возможно и всему этому я верю, но что наш Николай струсил и растерялся перед папою, да еще перед таким невзрачным папою, как Григорий XVI — этому я никогда не поверю, даже если бы ангел с неба принес мне об этом известие.

Единственным свидетелем этого свидания двух пап (deux papes, как говорили французские либеральные газеты) был престарелый, выживший из ума, впавший в детство кардинал Альтон. От него, разумеется, ничего выведать было невозможно: на все расспросы он отвечал благочестивым воздыханием и поднятием очей к небу. А сам папа, когда его расспрашивали, обыкновенно отделывался следующим ответом: „Я сказал императору то, что господь бог мне внушил". Вот тут и все исторические данные, а остальное—игра набожного

воображения или просто выдумка отличающихся своею лживостью ультрамонтанских газет.

Эта самая г-жа Эдгар лишь только увидела меня, тотчас же произнесла обо мне суждение по системе Галля: „У него в сильной степени развит орган благоговения“ (l'organ de la veneration).—Oime! pur troppo! [1] Перед кем и перед чем я благоговел? Известный демагог Струве при самом первом свидании с Герценом тотчас принялся щупать его череп: „Действительно, сказал он, Bürger Herzen hat kein, aber auch kein Organ der Veneration“—у гражданина Герцена решительно, вовсе нет „бугра почтительности“ [2]. Вот в том-то и дело, что судьба людей решается головными шишками или буграми!

Начиная описывать жизнь в Фальмуте, я должен заметить, что наша обитель состояла из трех лиц: настоятель отец де-Бюггеномс, брат прислужник frère Félicien и—я. С моим бугром благоговения не трудно угадать, какую роль мне пришлось играть! Я нарочно подчеркнул—де: когда он был студентом в Виттеме, он назывался просто Бюггеномс; но после, вероятно заметя его высокие качества, нашли нужным поднять его выше и всякими неправдами прицепить к нему аристократическую частичку д е. Où l'ambition va-t-elle se nicher? [3] Его другом и покровителем был теперешний архиепископ Мехельнский, Monseigneur Deschamps (тоже редемпторист), самый ярый поборник папской непогрешимости, теперь высоко стоящий в церкви и почти самодержавно управляющий Бельгиею по милости стертого характера короля. Этому де-Бюггеномсу следовало бы быть кардиналом: он всех дипломатов бы за пояс заткнул. Куда твои Меттернихи и Талейраны! Он человек вовсе был не ученый и далеко не блестящего ума — но хитрость, но лукавство, но терпеливая пронырливость, но умение подделываться ко всем характерам для того, чтобы достигнуть своих целей, и выше всего особенный дар подкапываться под своего начальника всеми неправдами и клеветами и, улучив счастливую минуту, сшибить его с ног и сесть на его место — вот в этом он был неподражаемый мастер. Одна католическая церковь может

---

[1] Увы! слишком сильно!

[2] Печерин имеет в виду эпизод, рассказанный Герценом в „Былом и Думах“ в главе, посвященной его встречам с женевскими эмигрантами в 1849 г. („Былое и Думы“, т. II, гл. XXXVIII, ГИЗ, 1931.). Густав Струве (1805-1870)—немецкий публицист, республиканец, один из руководителей революционного движения в 1848 г. К ряду чудачеств, которыми отличался Струве, относится и увлечение его френологией, т. е. учением о том, что основные духовные свойства человека находят себе выражение в строении черепной коробки, благодаря чему наружное обследование может дать представление о психических особенностях данного субъекта. — Галль (1758-1828) — немецкий врач, основатель учения о френологии.

[3] Где только не кроется честолюбие?

производить таких великих людей. Он был моложе меня — довольно приятной наружности и в этом отношении имел большой перевес у дам: щеки у него были пухлые и розовые, но впоследствии, с полным развитием характера, они оселись и повисли, а это именно отличительный признак отъявленных лицемеров — такими изображаются Тартюф Мольера и бессмертный ПекснИф Диккенса [1]. Но тут я бросаю перо: мне надобно отдохнуть и собраться с мыслями: нельзя же наскоро начертать такой необыкновенный характер.

Замогильные записки Владимира Сергеева сына Печерина.

(Mémoires d'outre-tombe)

Итак, благодаря цензуре, мои записки принимают высокий эстетический характер. [2] Они пишутся в истинно артистическом духе, т. е. совершенно бескорыстно, без малейшей надежды на возмездие в здешней жизни. Никто их не прочтет, никто не похвалит и не осудит их. Как таинственный сверток Спиридиона положен был с ним в гроб и навеки бы там остался, если бы нежная дружба, любознание и отвага его ученика не исхитили этой рукописи из могильной тьмы, так и моя рукопись будет долго-долго лежать в темных ящиках забытья... Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства; хотя, правду сказать, письма по этому адресу не всегда доходят, — вероятно по небрежности почты, особенно в России. Через каких-нибудь пятьдесят лет, т. е. в 1922 году, русское правительство в припадке перемежающегося либерализма разрешит напечатать эти записки, но тогда это уж будет ужасная старина, — нечто в роде екатерининских и петровских времен, времен очаковских и покоренья Крыма. Будет только темное предание, что дескать в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и наконец оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости. А память о нем сохранил еще больший чудак Федор Васильевич Чижов, питавший к нему неизменную дружбу в продолжение сорока слишком лет: вышереченный Чижов построил целую

---

[1] Тартюф—герой одноименной комедии Мольера; Пекснйф—тип английского лицемера и эгоиста, герой романа Диккенса „Жизнь и приключения Мартина Чезльвита".

[2] Ф. В. Чижов в 1872 г. пытался напечатать отрывки из предшествующих писем Печерина в русских журналах, но наткнулся на цензурные препятствия. Сообщение об этой неудаче и вызвало следующие строки Печерина.

сеть железных дорог, открыл дивную жар-птицу на островах Белого моря, дожил до столетнего возраста и оставил по себе несметные богатства и пр., и пр. Народное воображение все это преувеличит, разукрасит, превратит в легенду, в сказку: чего-ж лучше? Гораздо приятнее быть героем в сказке, чем в истории: исторические лица часто изнашиваются, теряют цвет и шерсть, а сказочные герои вечно юны и никогда не умирают.

Какой-нибудь русский юноша 20-го столетия (а оно ведь очень не далеко) с любопытством, а может быть и с сердечным участием прочтет историю этой жизни, вечно идеальной, отрешенной от всякой земной корысти, вечно донкихотствующей, и может быть это чтение воспламенит в нем желание совершить какую-нибудь великодушную глупость. — В „Письмах русского путешественника" Карамзин намекает на автобиографию А н т о н а Р е й з е р а (Anton Reiser) [1], как на важное психологическое явление: я как-то отыскал этого Антона Рейзера на Щукином дворе и изучил его от доски до доски. Он был одним из важнейших деятелей моей судьбы и утвердил во мне страсть к бродяжнической жизни. Может быть и моя автобиография будет иметь тоже н е з а в и д н о е влияние. — Но если я пишу для потомства, то к чему же тут торопиться? Ведь потомство не уйдет, да к тому ж оно и подождать может — что с ним церемониться? Важная особа! 20-ое столетие! Экая невидальщина! Мы и почище вас видали. Мы жили в пресловутом незабвенном 19-ом веке!

Я жил в Москве на Тверском бульваре в трактире „Город Берлин", содержимом каким-то полупьяным швейцарцем. Я никак не хотел нанимать квартиры, ни обзаводиться хозяйством, а так сказать кочевать — сидел у моря и ждал погоды, т. е. отъзда за границу. Этот трактир был притоном швейцарских гувернеров. Все они были молоды и жили в удивительном раздолье: у каждого из них были свои сани и прислуга. Я часто за общим столом расспрашивал их о жизни в Швейцарии — дорога́ ли, дешева ли она и можно ли там давать уроки: все это, знаешь, в виду близкого будущего. — Но этот общий стол был прескверный — истинно русская грязная кухня. Да я иногда совсем не обедал, а так, бывало, куплю себе фунт олив или, как мы называли в старые годы,

[1] Имеется в виду автобиографический роман немецкого писателя и путешественника, профессора, видного представителя эпохи „бури и натиска," К. Ф. Морица (1757—1793)—„Антон Рейзер" (вышел в 1785 г.). Н. М. Карамзин посетил автора в Берлине в 1789 г. В связи с этим свиданием в своих „Письмах русского путешественника" Карамзин писал: „Я имел великое почтение к Морицу, прочитав его Anton Reiser, весьма любопытную психологическую книгу, в которой описывает он собственные свои приключения, мысли, чувства и развитие душевных своих способностей". („Письма рус. путешественника", изд. 3-ье, стр. 83).

масляных ягод и с куском хлеба кое-как пробиваюсь: все это делалось с преднамеренным скряжничеством для того, чтоб накопить деньги для отъезда. Мой номер стоял как-то особняком с особенным крыльцом. Иногда к этому крыльцу подъезжали студенты в каретах (совершенно по-московски) и посещали меня в моей грязной и затхлой комнате. Однажды зашел ко мне молодой учитель для экзамена в греческом языке: он отлично знал свой предмет и я дал ему наилучшую аттестацию. Он был в восхищении от меня и с какою-то особенною развязностью русского чиновника, быстрым и метким взглядом осмотрев всю комнату, радостно потер руками и сказал: „Позвольте мне предложить вам чайный сервиз.“ — „Нет! покорно благодарю! Я вовсе в нем не нуждаюсь!“ Что он обо мне подумал, я не знаю; но на лице у него было написано изумление. Это было первое искушение и первый опыт того, как предлагаются и берутся взятки.

Когда-то под вечер и не в самом приятном расположении духа я возвращался домой: вижу у меня на крыльце сидит старуха нищая с костылем и вся в ужасных лохмотьях. Я хотел было ее прогнать. Она взмолилась: „Помилуй! отец ты мой родимый! Не погуби меня бедную! Ведь я твоя же крестьянка из сельца Навольново, у меня к тебе есть просьба“.

— „Ну что ж тебе надобно? говори!“

— „А вот, видишь ты, батюшка, староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай божескую милость да напиши им приказ, чтоб они выдали дочь мою Акулину за парня такого - то“.

Не входя ни в какие дальнейшие расспросы—с какою-то жесткою ирониею — я взял листик бумаги и написал высочайший приказ: „С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то (имя рек). Быть по сему. Владимир Печерин“. В первый и последний раз в моей жизни я совершил самовластный акт помещика и послал старуху к чорту. Это меня взбесило и окончательно ожесточило против России.

Но не одни старухи всходили по этому крылечку... Иногда поздним вечером молоденькая девушка лет 17 - ти, накинувши платочек на голову, прытко взбегала по этим ступенькам и осторожно стучалась у двери отшельника. Это было нечто в роде того, что воспевал Ломоносов, коверкая Анакреона:

„Внезапно постучался
У двери купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон“.

Ей-богу, не грех иногда среди сумрачной и суровой зимы припомнить весеннее солнце и теплый благорастворенный

воздух, и свежую юную жизнь природы, и даже мелкие цветочки, растущие на кайме тропинки...

Но все это ни к селу ни к городу, — а приведено только для следующего: в 1836 году были ужасные морозы, доходили до 36°. Я сидел у печки и записал в своем дневнике: Souffrez, souffrez! C'est une bonne préparation pour votre entrevue avec le compte Stroganoff [1], т. е. касательно отъезда за-границу. А между тем воображение рисовало, как через пять месяцев я уже буду в Швейцарии на берегах этих зеркальных озер под белоснежными вершинами Альп. В эти трескучие морозы иногда заходил ко мне погреться да потолковать пожилой француз высокого роста с седою головою. Он был большой философ. Однажды он мне сказал: „J'attends tranquillement ma fin: je serai bien partout où la bonne mère nature voudra me mettre!“ [2] Слушая его, я думал про себя: вот так и я на старости буду философствовать заграницею с чужеземцами. Все эти пророчества исполнились до последнего слова: я теперь философствую с доктором Аткинсоном. Все наши предчувствия имеют прочное основание в самой глубине нашего организма. Я никогда не мог забыть этого меткого выражения Бальзака: Un desir constant est une promesse que nous fait l'avenir [3]. У меня теперь нет никакого desir constant, разве, может быть, только желание совершенной независимости и уединения, но мне и так хорошо. Но теперь все это в сторону и надо приступить к довольно неприятному предмету, т. е. к биографии достопочтенного отца д е-Б ю г г е н о м с а.

Еще до моего приезда ему удалось выказать всю свою дипломатическую удаль. В два года — не больше — он успел разными подкопами, кознями и наговорами выжить из дома своего начальника отца Л е м ф р и д а и сесть на его место. Все это делалось хладнокровно, с математическою аккуратностью и с удивительною стойкостью. Он начал с того, что всеми силами старался унизить своего начальника, сделать его презренным и смешным в глазах г-жи Эдгар и ее семейства. А г-жа Эдгар была важное лицо: самое существование миссии от нее зависело. Он втайне переписывался с девицами Эдгар и заставлял их рисовать карикатуры на о. Лемфрида: каждый шаг, каждое слово его он старался представить в смешном виде. А с другой стороны он оклеветал его перед высшим начальством в Бельгии, обвиняя его в недозволенных сношениях с г-жею Эдгар. Отношения католического священника к женскому полу так свободны, фамильярны,

---

[1] Страдайте, страдайте! Это хорошая подготовка для вашего свидания с графом Строгановым.

[2] Я спокойно жду своего конца: мне будет хорошо всюду, куда бы ни поместила меня добрая мать-природа.

[3] Неизменное желание — это обещание, которое дает нам будущее.

задушевны, что легко могут подать повод к клевете. Отцу Лемфриду ставили в вину, что во время его болезни г-жа Эдгар иногда по целым часам сидела у его постели одна с ним в комнате. Но ведь это случается каждый день: сестры милосердия тоже сидят у изголовья больных день и ночь. А к тому ж г-жа Эдгар была пожилая женщина с двумя дочерьми-невестами. Для лучшего исполнения своих планов о. де-Бюггеномс вошел в заговор с вышеупомянутым братом прислужкою, frère Felicien. Они так насолили своему настоятелю, что он наконец в отчаянии сказал: Vous avez empoisonné toute ma vie. „Вы отравили всю мою жизнь!" — и просил как милости у начальства перевести его в другой новооснованный монастырь в центре Англии, Hanley Castle, а вскоре потом он и совсем вышел из ордена редемптористов. Частью и оттого, что он был француз, а бельгийцы французов терпеть не могут и называют их презрительным именем fransquillons [1]. Итак о. Бюггеномс остался полноличным властителем в Фальмуте.

Для того, чтобы упрочить будущее, он заставил бедную г-жу Эдгар сделать ему обет безусловного повиновения (voeu d'obeissance perpetuelle), так чтобы она никогда ни в каком случае не могла итти наперекор его планам. Но это еще не все. Ему никак невозможно остаться одному в Фальмуте, ему непременно пришлют помощника. Что тут делать? Ну как попадет коса на камень! Для предупреждения этой невзгоды он умолял начальство в Бельгии прислать к нему не кого-либо другого, а именно отца Печерина, так как он имел к нему высокое уважение по его отличным качествам и способностям и надеялся в нем найти доброго и ревностного помощника. Voilà un coup de diplomate! On connait le diplomate à sa haute cravate, à ses longs favoris! [2] Да! это была высшая дипломатия! Он с самого Виттема знал, с каким ревностным усердием я соблюдал монастырский устав до последней иоты, с каким благоговением я повиновался настоятелю, с какою живою верою в каждом Superieur [3] я видел лицо самого Иисуса Христа! Пагубная теория! зловредное учение! Оно было с покон века сильным орудием в руках честолюбивых лицемеров для достижения их очень не идеальных целей.

Еще в Виттеме он, как говорится, заискивал во мне; но когда я приехал в Фальмут, он рассыпался в заявлениях беспредельной дружбы и привязанности ко мне. Мне даже это показалось немножко странно: монастырским уставом запрещаются подобные нежные излияния: всех братьев должно

[1] Французишки.
[2] Вот ход дипломата! Дипломата узнают по его высокому галстуху, по его длинным бакенбардам!
[3] Начальник.

любить одинаково, без особенной привязанности к частному лицу. Но что ж тут делат? Кто ж откажется от дружбы и любви, когда вам их предлагают и даже навязывают — особенно если у вас такое мягкое сердце, какое было тогда у отца Печерина? „Ведь я Supérieur только для формы:“ — сказал он мне: „мы совершенно равны: мы будем жить как братья“. Чего же лучше? „Се что добро или что красно, но еже жити братие вкупе. Под этими священными текстами сколько скрывается мошенничества! У нас взяточники тоже освящают свои проделки словами св. писания: всякое даяние благо и всяк дар совершен!

Фальмут

(1845—1848).

И так мы опять в Фальмуте. „Там, где море вечно плещет на пустынные скалы“. Благорастворенный климат, где лавры растут переплетаясь с розовыми кустами — море сверкающее в заливах, бухтах, разных закоулках под навесом черных скал — там и сям почтенные следы древней финикийской промышленности: все в этом очарованном уголке как будто нарочно устроено было для того, чтобы украсить жилище пустынника. С каким-то странным сладостно-грустным чувством я вспоминаю об этом времени. Мне кажется — это сон и я спрашиваю себя: неужели это был я? В эти три года я как-будто напился воды из реки забвения: ни малейшего воспоминания о прошедшем, — ни малейшей мысли о России (кроме обязательных официальных писем к родным), — ни малейшей заботы о завтрашнем дне: я жил буквально со дня на день (du jour au jour), — с слепою верою, с неограниченным повиновением, с детскою доверчивостью к людям. Главное то, что у меня недоставало одной из важнейших пружин человеческой деятельности, т. е. честолюбия. Да! у меня его вовсе не было. Правда! оно являлось по временам, будучи возбуждаемо и подстрекаемо другими; но само по себе оно бы вечно спало непробудным богатырским сном. Если бы меня почти насильно не вызвали в Лондон (1848), я готов был остаться в Фальмуте до скончания века: жить в тесном кружке, делать кое-какое добро, любить и быть любимым — этого для меня было довольно. Я мог бы сказать с театинским кардиналом (Cardinal di Teate): „Я хотел бы преобразовать целый мир, но с тем, чтобы он не знал о моем существовании“ (sans que le monde se doutât de mon existance)! Я всегда любил так называемую скрытную жизнь (vie cachée). „Я хотел бы исследовать все глубины науки, но без шума слов, без битвы прений, без гордости почестей“ (sine strepita verborum, sine

pugnatione argumentorum, sine fassa honoris. — Imitatio Christi)[1].

Я не мог быть профессором в России, потому что там требуется не в самом деле наука, а слова, декламация, пыл и в глаза бросание и отличие по службе. Даже покойный Грефе[2] говорил, что в Петербурге ученая жизнь не возможна, потому что там все поглощается официальностью или чиновническим честолюбием. А в Риме и подавно мне дышать было невозможно: там самое средоточие пошлейшего честолюбия. Вместо святой церкви я нашел там придворную жизнь в ее гнуснейшем виде. Вместо идеальных монахов, погруженных в созерцание вечных истин, изучающих в уединении природу и искусство, я видел безграмотных лентяев, бродящих от безделья по форуму или сидящих по целым часам в передних кардиналов в ожидании каких-либо милостей для их ордена. Самый подлейший русский чиновник, сам Чичиков никогда так не льстил, не подличал, не пресмыкался, как эти монахи перед кардиналами. Из-за этого одного следовало бы давным давно уничтожить светскую власть папы: она — поругание разума, святотатственное посягательство на достоинство человека, позорное пятно на щите 19-го столетия. Но довольно!

Вместо этих дрязг монашеского честолюбия, не лучше ли сидеть в Фальмуте на берегу моря да смотреть как судно с белым парусом колышется на волнах под самыми окнами нашего скромного домика? Наш домик стоял на террасе позади часовни. У нас было четыре комнаты на верху, т. е. четыре спальни или кельи; внизу была приемная, столовая и кухня. Перед часовнею был палисадник, довольно запущенный, но все ж таки были еще кое-какие цветы. С этим палисадником случилась странная история.

По каким-то распоряжениям начальства, нашего любезного и ловкого француза брата Фелициана перевели в другой дом на севере, а на его место в прислужники прислали к нам очень набожного, но неуклюжего фламандца. Кухня и садик поступили в его ведомство. Первым актом его администрации, его coup d'état[3] было то, что он повырвал остальные цветы из палисадника и на место их насадил картофель. „Ведь это“, говорил он, „полезнее для монастыря, а в цветах какой прок?“ Боже милосердный! посадить картофель на видном месте, на террасе, на большой дороге, среди прелестных вилл и садиков — это было просто варварство! Не даром Жорж Занд сказала, что „монах без картин и без цветов, — не что иное, как свинья“, т. е. она не сказала это так грубо, но деликатнее по французски: un animal

---

1 „Подражание христу“, популярное произведение средневековой христианской литературы, приписываемое монаху Фоме Кемпийскому.

2 См. примеч. на стр. 40.

3 Государственным переворотом.

immonde [1]. Один только Виктор Гюго осмелился сказать прямо: cochon [2]; но ведь ему и не то еще спускалось.

Тут мера моего терпения переполнилась, да и сам настоятель был совершенно со мною согласен. „Во что бы то ни стало, надобно сбыть с рук этого брата“, сказали мы друг другу (Il faut nous debarasser de ce frère-là). Ведь это срам и позор особенно здесь в Англии, где любят все изящное! Сказано-сделано, и с позволения высшего начальства мы выпроводили нашего фламандца по живу по здорову, и он отправился обрабатывать картофель где-то в глуши в уединенной деревне, где его садоводство не могло оскорбить эстетического чувства людей высшего класса. А нам возвратили нашего милого расторопного Фелициана: под его руководством и с помощью садовника наш палисадник превратился в настоящий цветник (parterre) с прекрасными дорожками и роскошными цветами. Тут мы обыкновенно прогуливались два раза в день во время рекреации (récréation), т. е. час после обеда и час после ужина, когда позволено было разговаривать, а в остальное время мы должны были хранить молчание.

Нас было трое: два священника и один брат-прислужник. И для двух священников немного было дела: число католиков не доходило до ста. Но для лучшего соблюдения монастырского устава и для благолепия священнослужения нашли нужным присоединить к нам еще одного патера, и прислали какого-то полоумного француза— теперь даже имени его не помню. Он не то что был сумасшедший, а так чего-то недоставало, и с ним случались странные припадки. Кажись, английский климат имел очень невыгодное на него влияние. Мы сидели однажды с ним за столом: брат Фелициан и я. Вдруг гляжу: лицо его совершенно изменилось: он посмотрел на меня искоса диким взглядом сумасшедшего и крепко схватился за нож: брат Фелициан остановил его руку. Я немножко струхнул, но на этот раз этим дело и кончилось. Но скоро однажды пришел кризис. Однажды после обеда мы совершали краткую молитву перед алтарем в часовне. Вдруг что-то обрушилось на меня: мне казалось, что огромная лампада, висевшая перед алтарем, упала мне на голову, а вместо того это была—огромная пощечина, данная мне сумасшедшим патером со всего размаху с словами: „pourquoi me persécutez-vous?“ [3]—так что я упал почти без чувств... После этого нечего было мешкать: настоятель решился тотчас с первым же дилижансом отправить этого юродивого во-свояси, в более сродный ему климат Бельгии. Но накануне его отъезда я нашел нужным запереть свою комнату

[1] Грязное животное.
[2] Свинья.
[3] Почему вы меня преследуете?

изнутри — бог весть, что могло случиться ночью. Но по утру он опять был в здравом уме и вообще перед чужими он както сдерживал себя и не показывал никаких дурных признаков.

На место сумасшедшего к нам прислали человека совсем другого разряда. К нам приехал патер Лукс, голландец, молодой человек, живописец, музыкант, певец, все что угодно, ты может быть мельком его видел в Виттеме, но брат Федор Печерин коротко с ним познакомился и старался всеми силами разведать — какие романтические причины побудили такого красавца пойти в монахи, но ничего не выведал, потому что ларчик просто отпирался. По просьбе брата, Лукс написал с меня портрет масляными красками — вовсе непохожий: он сделал меня красавцем и по крайней мере десятью годами моложе. А потом брат взял этот портрет с собою в Петербург и там отдал какому-то модному артисту поправить и окончить, retoucher et donner le dernier coup de pinceau [1], а тот уже действительно так его доканал, что вышло чорт знает что такое, до такой степени, что мать моя, увидев портрет, заплакала от досады. „Я ожидала увидеть монаха, а вижу ребенка". Это доказывает, что у простосердечной матери моей был истинный неподдельный вкус.

А напротив — в современной католической церкви везде господствует — мишурный вкус. Это особенно поражает в церквах господствующей секты, т. е. иезутов: везде видно отсутствие простоты: все как-то натянуто, неестественно, вычурно, везде проглядывает какое-то мелкое тщеславие. Живопись в возобновленной церкви san Paolo fuori le mura [2] — ниже всякой критики. Был у них в Риме знаменитый живописец Овербек [3]; но и тот же ведь был немец и был вначале протестантом, а после перешел в католичество. Первое его произведение находится в лютеранской церкви в Любеке. В Риме все носит отпечаток крайнего изнеможения, дряхлости, рыхлости, все как будто разбито параличем; но все ж таки они бодрятся и хотят выставить себя молодцами. Основатель конгрегации редемптористов св. Альфонс де Лигвори [4] доселе обыкновенно представлялся дряхлым стариком небольшого роста с упавшею на грудь головою; но теперь как редемптористы пошли в гору, им стало стыдно иметь такого невзрачного патрона. Вот например св. Игнатий у иезуитов: посмотрите, какой молодец! лихой офицер да и только! А у нас-де такой плюгавый старикашка. Нет! этому надобно

---

[1] Ретушировать и дать последний удар кисти.

[2] Св. Павла вне стен.

[3] Овербек (1789—1869), немецкий художник, поселившийся в Риме, перешедший в католичество и посвятивший себя исключительно церковной живописи.

[4] См. примеч. на стр. 131.

помочь, для чести ордена! итак они принялись за дело: выпрямили св. Альфонса, прибавили ему несколько вершков роста, разбелили и разрумянили его и вышел — отличный кавалергардский полковник! Это напоминает мне польскую графиню, виденную мною в Хмельнике в 1823 г.: ей было лет за 70, но она всегда румянилась самою нежно-розовою краской и с полуоткрытою грудью была одета точно как девушка лет шестнадцати — вот католическая церковь в ее настоящем виде.

Слыхал ли ты когда-нибудь о русском художнике Габерцеттеле? [1] В 1851 г. он выставлял в Лондоне огромную картину: Проповедь Иоанна Крестителя в пустыне. Ее не одобрили в Петербурге. Государь Николай Павлович, взглянувши на нее, сказал: „Вот опять эта западная живопись!" и отвернулся прочь. И Николай Павлович был совершенно прав. Не говоря уже о других подробностях, довольно было взглянуть на главную фигуру Иоанна Крестителя: вместо сурового вдохновения пророка, тут выражалось какое-то приторно-сладкое изнеможение полупьяного гандена [2]. В Лондоне тоже она не имела ни малейшего успеха. Этот же самый Габерцеттель непременно хотел навязать редемптористам им же писанную небольшую икону спасителя. Настоятель отец де-Гельд старался отделаться от него всеми способами, извиняясь тем, что теперь в Англии совсем другой вкус, что любят все старое, готическое и пр.; а в самом деле картина была невыносимо дурна. Лицо спасителя в терновом венке было просто портрет какого-то итальянского щеголя с завитыми кудрями и любострастными глазами. Одно доброе дело сделал Габерцеттель: он привел меня с братом к хорошему дагерротиписту, а тот снял с меня верный портрет, доставивший истинное удовольствие моей незабвенной матушке. — В музыке тот же ложный мишурный вкус. В папской капелле в Ватикане поют еще кое-как сносно; но во всех других местах везде оперная музыка: им недостает только пригласить Штрауса [3] проиграть вальс во время обедни.

---

[1] Габерцеттель (1791-1853) — русский художник, воспитанник петербургской Академии. 1835-1837 г. г. Г. работал за границей, но Академия Художеств нашла, что его работы выполнены „с особым небрежением", а „понятия его об искусстве вообще ограниченны" и дала ему знать, что он „не оправдал ожиданий Академии и носимого им звания академика, если же он не лишается сего последнего, то единственно из снисхождения". В 1843 г. Г. окончательно покинул Россию и поселился в Англии, где и умер в полной бедности. Писал Г. главным образом иконы для церквей.

[2] Французское gandin — франт.

[3] Штраус Иоган (1825-1899) — немецкий музыкант, приобретший всемирную известность как автор танцев, которых им написано более 400. Его танцы упоминаются здесь Печериным как символ легкой, веселой, чисто светской музыки.

Итак патер Лукс (Lux) приехал к нам с истинно-католическим вкусом в живописи и в музыке, с самым высоким понятием о самом себе, с гордою надеждою, что он обратит всех протестантов в истинную веру своею кистью и своим голосом. По примеру всех великих гениев, он начал все преобразовывать, все переделывать по-своему: расписал, размалевал всю нашу крошечную церковь сверху до низу с весьма сомнительным вкусом и надобно признаться что живопись его была довольно плоха. Случилось, что сардинский военный корабль остановился в Фальмутской пристани; священник (aumonier de la flotte) пришел нас навестить. Мы показали ему свою церковь как какое диво. Взглянув на живопись, он с улыбкою сказал: „Non era un Raffaele questo pittore“ [1]. А когда ему объяснили, что этот non Raffaele именно стоявший возле него патер Лукс, то он расхохотался и размахнувшись руками сказал: „Eh bien! je vous en félicite!“ [2]

В католической церкви нет крылоса, нет сословия дьячков и певчих, а на хорах поет всякий мирской сброд, особенно молодые люди и девушки, что подает благоприятный случай к волокитству, и это оперное пение, как и все театральные пьесы, часто оканчивается счастливым браком. Патер Лукс, приехавший с намерением победить всех протестантов, сам остался побежденным и вместо того, чтобы обратить их в католическую веру, сам был совращен в языческую веру известного всем древнего бога Купидона. На хорах у нас была новообращенная католичка — очень хорошенькая девушка и наша лучшая певица. Ей часто приходилось петь дуэты с о. Луксом. Вообрази себе их поющих вместе: Ah! per ché non posso allearti In fede com' io! Ma del tutto anchor non sia cancellato dal mio cuor! [3] Им случалось часто видеться вне церкви. Надо же поговорить о музыке, выбрать и расположить ноты, надо спеться, сделать репетицию — мало ли каких потребностей не найдется у музыкантов и певчих. Он влюбился в нее по уши и их взаимная привязанность сделалась слишком очевидною для всей почтенной публики, так что настоятель принужден был запретить о. Луксу видеться с ней наедине. Из этого вышла ссора, перехвачено было какое-то письмо. Настоятель не хотел его выдать—Лукс насильно выхватил его и даже поднял руку на своего начальника во время самой молитвы...

Это все та же самая древняя история — и на театральной сцене и на сцене жизни, в монастыре, в хижине и в царских палатах — везде владычествует вечный присносущий непобедимый бог любви, ему же царство и сила и слава во веки

---

[1] Этот художник не был Рафаэлем.

[2] Ну ладно! Я вас поздравляю.

[3] Ах, почему я не могу присоединить тебя к моей вере! Но во всяком случае ты неизгладима в моем сердце!

веков. Аминь. Этой драме или комедии или трагедии могла быть одна развязка: в одно прекрасное утро очень рано патер Лукс вышел из нашего дома одетый по-светски с зонтиком в рукам, молча пожал мне руку, кивнул головою и пропал бог весть куда. Его любезная, — очень порядочная девушка, — разумеется, не последовала за ним, но, как говорили, очень великодушно доставила ему средства путешествовать. И этим кончается мой роман. Теперь, слава богу, дошли до конца: за это мне дайте стаканчик винца (из древней поэмы).

Лондон.

1-го мая 1848.

Десять лет назад это число казалось мне так близким, как будто вчерашний день; а теперь оно отодвинулось в такую туманную даль, что уж принадлежит к годам первой юности, (хотя мне тогда было за сорок лет). 1-го января 1875 будет ровно 30 лет с тех пор, как я в первый раз вышел на берег Англии. Страшно и подумать! В это время целое поколение людей успело родиться, вырости и умереть. Хотя мне и грустно было расставаться с Фальмутом, но все ж таки эластическая упругость юной жизни брала свое. Я ехал в Лондон полный веры, надежды и любви, с беспрекословным повиновением, с неограниченным доверием к людям. — Я ехал как солдат, идущий в поход по приказанию начальства... куда? за чем? против кого? за кого? — А мне какое дело? Приказано да и только! Жизнь — копейка, командир — наживное дело! Мною тогда обладал дух, самопожертвования. „Величайшая и достойнейшая жертва, какую человек может принести богу, это — пожертвовать своим разумом и волею". На это можно теперь возразить, что если отнять у человека разумную свободу, то что же останется? — Хорошо дрессированная скотина, лошадь или собака, выкидывающая разные штуки по мановению хозяина. Но к этому именно и стремится вся система иезуитов. По словам св. Игнатия, иезуит в отношении к своему настоятелю должен быть как бездушный труп, как посох в руке старца и пр.

С Паддингтонской станции (Paddington station) я взял извощичью карету (cab) и меня везли каких-нибудь два часа, пока мы наконец достигли отдаленного южного предместья Клапам (Clapham). Лондонские предместья беспрестанно расширяются, открываются новые улицы, дома растут как грибы, те же нумера повторяются с прибавкою капитальных букв. Едва-едва мы отыскали небольшой домик под каким-то № 85 B, где отец де-Гельд остановился у нашего приятеля и благодетеля Фильпа (Philp). Он теперь значительный книгопродавец в Лондоне. Отец де-Гельд принял меня с отверстыми объятиями, выхваляя мое быстрое повиновение

(prompte obéissance). Этой быстроте повиновения много содействовал мой почтенный настоятель в Фальмуте, отец де-Бюггеномс. Он нарочно поспешил отправить меня в пятницу для того, чтоб не дать мне случая сказать прощальное слово народу в воскресенье и получить от него знаки сочувствия. Этот человек (т. е. де-Бюггеномс) терпеть не мог ни соперника, ни равного. Он, казалось, беспрестанно повторял себе слово Кесаря: лучше быть первым в деревушке, чем вторым в Риме.

В тот же вечер я имел случай видеть начало нашей деятельности. Полдюжины маленьких девочек, составлявших католическую школу, под надзором г-жи Фильп собрались в маленьком садике, где им раздавали разные премии и потчевали чаем с пирожками. — В доме г. Фильпа не было отдельной комнаты для меня, итак меня отправили на ночлег в другую улицу в дом двух престарелых девиц, составлявших всю католическую аристократию Клапама. Клапам в то время был твердынею самого строгого евангелического протестантизма. Нога католического священника никогда там не бывала. Главное население состояло из богатых купцов, отправлявшихся каждое утро в 9 часов с омнибусом в Сити в их торговые конторы. Кое-где в закоулках и глухих переулках гнездились кочующие семьи бедных ирландских работников — это была наша будущая паства.

Незадолго до нашего приезда поселилась в Клапаме некая г-жа Гобриан (Goesbriand) из Бретани: она составила какое-то общество светских дам, связанных некоторого рода монастырским уставом и занимающихся разными богоугодными делами. Мы поселились покамест в их доме: нам отвели две комнаты с столовою и мы жили у них на пансионе. Из двух других комнат сделали довольно обширную залу: тут мы поставили алтарь и это была наша первобытная церковь. В воскресенье, бог знает откуда, набралось довольно народа, так что зала была наполнена. Монсиньор Талбот (бывший после папским камергером—chamberlain, а теперь находящийся в доме сумасшедших), в очень лестных выражениях представил или отрекомендовал народу отца де-Гельда как опытного миссионера, объехавшего Европу и Америку. При вечерней службе я говорил проповедь, от которой все были в восхищении и после этого наша маленькая церковь всегда была битком набита, так что люди задыхались от жару. Меня пригласили проповедывать в самом Лондоне в большой католической церкви св. Георгия, и тут уж были стенографы, записывавшие каждое мое слово. Нас было двое: о. де-Гельд и я, и мы по-возможности строго соблюдали монастырский устав. По утру в половине 5-го я будил моего почтенного настоятеля, и мы вместе преклоняли колена и совершали утреннюю молитву и духовное размышление

(méditation), потом следовала обедня и пр. и разные сношения с нашею паствою. О. де-Гельд или фон-Гельд (Held) был очень хорошей австрийской фамилии и монашеская жизнь ни мало не испортила его прямодушно-твердого и благородного характера: он обходился со мною очень деликатно, с какою-то отеческою любовью и вместе с тем с величайшим уважением: у него была поэтическая рыцарская душа и он понимал подобные чувства в других: он умел вполне оценить мои таланты и давал им надлежащее направление. Он был моим Моисеем, я был его Аароном: я доселе храню благодарную память о нем. Когда брат Ф. Печерин прощался со мною в Лондоне в 1851 году, о. де-Гельд сказал ему: „Скажите его родителям, что вот уже более 6-ти лет как я его знаю, а он ни разу ни на одну минуту не огорчил меня".

В то время Лондон был убежищем всех беглецов от революции. Меттерних [1] с семейством поселился возле нас. Он как-то захворал и нашли нужным послать за священником — пригласили о. де-Гельда. Его приняла сама графиня и сказала, что муж ее только слегка нездоров и сейчас к нему выйдет. Тут завязался разговор и слово в слово графиня сказала: „Мой муж очень ревностный католик и правду сказать—он лучше самого папы!" Каково! Как времена изменились! Тогда Пий IX считался опасным либералом, а теперь — успокойся, возрадуйся и ликуй, о тень Меттерниха! Пий IX человек тебе по сердцу и ты скоро с отверстыми объятиями встретишь его на полях Елисейских! Вышел Меттерних в халате или сюртуке не помню — и оказалось, что он просто старый болтун. У него вечно одна и та же песня, т. е. что все зло в мире происходит от измов, напр. либерализм, конституционализм, социализм, коммунизм и пр. Я удивляюсь, что отцу де-Гельду не пришло на мысль заметить ему, что к этому же разряду зловредных измов принадлежат: Catholicisme, ultramontanisme и даже Catéchisme [2]. Видно, что остроумие Меттерниха далее не простиралось, потому что после, когда известный Велво навестил его в Вене, он сообщил ему второе издание той же диссертации об измах. Канцлер Оксенстирна [3] посылая сына путешествовать, сказал: „Ступай, мой сын, и собственным опытом узнай, как мало требуется мудрости, чтобы управлять миром (quam minima sapientia gubernatur mundos)".

---

[1] Меттерних—канцлер австрийской империи, глава европейской реакции 20—40-х гг., бежал из Вены после революции 1848 г.

[2] Католицизм, ультрамонтанизм (крайний клерикализм) и даже катехизис.

[3] Знаменитый руководитель шведской политики первой половины XVII в.

Лондон

От мая до августа 1848.

И так мы опять в Лондоне и 1848 г.

О Лондон! милый Лондон!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно,
Но тщетно слезы лью.

Отец де-Гельд не имел дара слова для того, чтобы быть проповедником, да сверх того его ограниченное знание английского языка не позволяло ему входить в близкие сношения с народом: — итак вся обуза пастырского попечения лежала на мне. Я каждый день с утра до вечера рыскал по окрестностям, отыскивая заблудших овец Израиля — и правду сказать, это было очень паршивое стадо. В разных закоулках и лачужках гнездились бедные ирландцы самого низшего класса, самые дрожжи общества, la lie de la populaçe. Ирландцы в Ирландии имеют многие любезные качества; но переселившись в Англию, они совершенно перерождаются. Много говорят об уважении и привязанности ирландского народа к их духовенству. Это требует объяснения.

Если ты воображаешь, что ирландец глядит на священника, как на представителя невидимого божества на земле, как на казначея сокровищницы небесной благодати, то ты очень ошибаешься: понятия ирландца не подымаются так высоко. — А вот почему он уважает и любит священника: 1) Все ирландские священники вышли из крестьянского сословия, т.-е. они сыновья фермеров и несмотря на воспитание, получаемое ими в духовной академии в Мейнуфе (Maynooth), они разделяют все невежественные предрассудки и дикие страсти своего класса; они все демагоги и стоят за народ против правительства, следовательно свой своему поневоле брат. Священники прикрывают грехи народа, а народ смотрит сквозь пальцы на проказы священников, — рука руку моет и ворон ворону глаз не выклюет... Из этого образовалось два мифа: целомудрие женщин и целомудрие священников: оба они носят на себе печать самого богатого поэтического вымысла. 2) Ирландец смотрит на священника, как на опасного колдуна, с которым надо ладить, а не то беда будет. Он пожалуй сглазит, нашепчет что-нибудь, наговорит или наведет какую-нибудь лихоманку. Ну, а обмануть колдуна, когда тебе от этого польза, то в этом нет греха. Это объяснится практически впоследствии. 3) Ирландцы буквально и слепо верят в эти евангельские слова: „на недужные руки возложат, и здрави будут“. Они действительно верят, что священник может исцелить всякий недуг одним прикосновением, если только захочет. В Ирландии найдется не

одна кровоточивая жена, что скажет про себя: „Если только коснуся ризы священника, то наверное исцелюся“.

Однажды молодая женщина пришла благодарить меня за то, что я излечил сестру ее от слепоты: „она была слепа, а теперь совершенно видит“. Клянусь богом, что я ни видом не видал ни слыхом не слыхал ничего подобного; никакая слепая женщина ко мне не приходила, а все это просто был плод воображения. Это как нельзя лучше объясняет все евангельские чудеса или действительно совершившиеся, или вымышленные (что все одно и то же) в самой невежественной и легковерной среде, в этой римской Ирландии, в Палестине, — в глуши, в бедных деревушках, между дикими горами, на берегу уединенных озер. В этой самой Палестине до сих пор каждый европеец считается чудотворцем, Хакимом т.-е. доктором, излечающим все недуги одним прикосновением. „Вот этак он плюнет на землю, да смешает слюну с песком, да и помажет больное место—и тотчас выздоровеешь“. Известный английский путешественник Палгрев проникнул в дотоле недоступную среднюю Аравию под личиной сирийского медика. Хотя он ни аза не смыслил в медицине, но с помощью разных безвредных сиропов и мазей производил чудеса и все от мала до велика — даже самые знатные люди были от него без ума. Здесь в глуши в Западной Ирландии, где еще кое-где говорят ирландским наречием, некоторые священники набивают себе карманы этим чудотворным ремеслом. Даже в предместиях Дублина, у самых городских ворот, в монастыре пассионистов явился однажды чудотворец отец Карл (father Charles). К нему из деревень мешками медные деньги носили за чудотворные лечения. Это возбудило зависть белого духовенства, представили дело кардиналу, и он запретил эти чудодейства и приказал отослать отца Карла в другой монастырь. Очевидно, что в Ирландии средние века еще не прошли.

После этого предисловия обратимся к делу, т. е. reprenons le fil de notre narration [1]. Однажды под вечер в сумерки пришли ко мне молодой парень с молодою женщиной и пали на колени, прося благословения. „Сделайте божескую милость, батюшка: обвенчайте нас теперь же: мы завтра рано поутру отправляемся через Ливерпуль в Америку“. Что тут делать? Ведь Клапам — это африканская пустыня — настоящая Сахара — тут не к кому обратиться — никаких справок взять нельзя — вот так я и поверил им на слово и обвенчал их: А они в Америку вовсе не поехали, а притаились в каком-то закоулке в Клапаме и после оказалось, что у этой молодой женщины был уже первый муж в Америке. Подобные

[1] Возвратимся к нити нашего повествования.

проделки нередки между благочестивыми ирландцами. Благо под боком Америка, прибежище всех скорбящих и всех негодяев. Николай называл Париж помойною ямой Европы; а Америка уже целый океан всемирных нечистот. Недавно молодой человек лет 18-ти женился на очень порядочной и скромной девушке, пожил с нею два года, покинул ее и уехал в Америку, где и пошел в солдаты в армии Соед.-Штатов и вероятно там найдет другую жену без малейшего зазрения совести. Легкомыслие, любовь к приключениям и бродяжнической жизни и отсутствие всякого чувства долга, т.-е. нравственного чувства вообще (sens moral)—вот главные черты ирландского характера. А из этой басни можно вывесть следующее нравоучение: „Колдуна обмануть не грех, если этак можно от него чем-нибудь поживиться".

Однажды рано поутру, когда я был занят церковною службою, отца де-Гельда вдруг призвали в Ругамптон в монастырь du sacré coeur для духовных упражнений. Не имея времени со мною проститься, он оставил на столе кучку серебра для обыденных расходов. Я, даже не считая этих денег, так просто взял и положил себе в карман. А тут на беду получаю письмо из Лондона от молодого бельгийца, которого я узнал в Фальмуте: он был в крайней нужде и умолял меня навестить его и помочь сколько возможно. Надобно было ехать в Лондон (5 миль) и дать кое-какое пособие этому молодому человеку (хотя, сказать мимоходом, он вовсе его не заслуживал) и вышло, что по возвращении о. де-Гельда через два-три дня у меня из целого им оставленного фунта едва ли осталось 2-3 шиллинга. От этого о. де-Гельд возымел очень дурное понятие о моих экономических способностях и с тех пор у нашей братии утвердилось поверье, что я к администрации вовсе не способен.

Между тем шли переговоры о покупке дома для обители редемптористов. Странная игра судьбы! Нашелся обширный дом с прекрасным садом, тот самый дом, где учреждено было первое библейское общество, где знаменитый Вильберфорс[1] собственноручно раздавал библии народу из окна. В саду был старый трех-сотлетний дуб елизаветинских времен. Откуда взялись деньги на эту покупку, это для меня доселе осталось тайною, потому что о финансовых распоряжениях мне ничего не сообщили, как человеку в этих делах ничего не смыслящему. Вероятно, тут содействовали богатые английские католики, особенно отец нынешнего герцога Норфольского, да и у самих отцов редемптористов, у этих христовых бедняков (pauvres du

[1] Английский общественный деятель, получивший известность в связи со своей борьбой против рабства негров; он был так же членом „Британского библейского общества", имевшего целью широкое распространение библии на языках, доступных народным массам разных стран.

Christ) порядочные фонды в запасе, так что они везде строят великолепные дома и церкви. После покупки дома тотчас занялись постройкою церкви. Мы с о. де-Гельдом отправились к архитектору и заключили с ним контракт и запили его шампанским. Я тогда был в самом апогее (apogée) моей славы. В каком-то собрании благотворительного общества меня пригласили сказать речь и она вышла так удачна, что епископ (после кардинал) Вейзман в ответ на нее отозвался обо мне в самых лестных выражениях: все были в восхищении и просили у меня рукописи, чтобы напечать; но так как я никогда не писал своих речей, а всегда импровизировал под вдохновением минуты, то это оказалось невозможным и они должны были довольствоваться тем, что записали стенографы. Надобно было видеть остервенение народа в Клапаме, когда рабочие начали ломать решетку и вырывать кусты и цветы перед домом для того, чтобы расчистить место для церкви: им едва ли можно было работать от беспрестанных криков и ругательств проходящих. Без сомнения, это было с нашей стороны наглым посягательством на строго-протестанскую святыню Клапама.

В это же время с помощью лорда Арунделя нам удалось попасть в парламент. Это было еще в старом очень простом и невзрачном здании. Тут я видел Веллингтона[1] и лорда Абердин,[2] тогдашнего первого министра и большого приятеля нашего Николая. Всего более поразила меня благородная простота этих прений: тут не было ни тени напыщенного красноречия, ни театральных жестов: это было просто собрание деловых людей, серьезно рассуждающих о важных делах без малейшего желания выказать себя. Во Франции, напротив, члены парламента думают не столько о благе народа, сколько о том, как себя показать, как размашисто взлететь на кафедру, произнести напыщенную речь в роде проповеди с самыми бешеными театральными жестами. Французы вечно останутся риторами и они ни к чему другому не способны, и когда Францию постигнет участь Польши, то они везде (особенно в России) будут славиться как отличные риторики: они будут учить русских мальчиков произносить с особенною эмфазою и с невозможными жестами le recit de Théramène:

---

[1] Веллингтон (1769—1852)— герцог, английский военноначальник и государственный деятель, консерватор, один из виднейших руководителей английской армии во время борьбы с Наполеоном, победитель при Ватерлоо. В дальнейшем Веллингтон неоднократно входил в английское правительство, неизменно представляя в нем самое крайнее консервативное крыло земельной аристократии.

[2] Абердин (1784—1860)— английский политический деятель, неоднократно занимал должность министра иностранных дел.

A peine nous sortions des portes de Trézène,
Il était dans son char... [1]

Когда я читаю Шекспира, я чувствую, что я у себя дома, так сказать в халате, могу разлечься на диване или на траве под кустом — я у себя дома, так сказать в объятиях матери-природы; — но для того, чтоб читать Расина, надобно непременно встать, принарядиться, напудрить голову, надеть придворный кафтан и, взяв шляпу под руку, стать в третью танцовальную позицию. De deux nations connais la d i f f é r e n c e! [2]

Лишь только мы обзавелись домом, как вдруг нахлынула на нас целая эмиграция редемптористов, выгнанных из Вены [3]. Что тут делать? Куда их девать? Немногих из них мы кое-как приютили у себя, а остальных отправили на подножный корм в провинцию к кое-каким католическим помещикам, нуждавшимся в домашних капланах. Но и там над этими святыми отцами исподтишка смеялись за их странные и неуклюжие приемы. Уровень их образования был довольно низок, по крайней мере в сравнении с здешними священниками. Английский, особенно лондонский священник — хочет он, не хочет—должен быть образован: он живет в атмосфере, насыщенной к у л ь т у р о ю, читает газеты, журналы, обозрения и все произведения современной литературы; следит за парламентскими прениями и имеет свои более или менее либеральные политические мнения:—а тут вдруг нагрянула полудикая орда с стародавними славяно-германскими, австрийско-меттерниховскими преданиями, с открытою ненавистью ко всякого рода свободе и с подлейшим обожанием деспотизма.

С одним из них я очень подружился. Он был мне родич—чех, о т е ц П е т р а к (Pietrak) — человек с большим талантом и сильным воображением. Когда его арестовали в Вене — целая ватага молодых ч и н о в н и к о в р е в о л ю ц и и окружили его: „Скажите пожалуйста, так это вы тот самый фантастический проповедник (phantastischer Prediger), о котором вся Вена говорила?“ С этим Петраком можно было говорить о политике и литературе и даже цитировать Шиллера,—что в Риме считалось бы предосудительным.

Когда меня в этом Риме представили кардиналу Рейзаку (бывшему архиепископу Мюнхенскому), на вопрос его, как мне нравится Рим, я отвечал стихами Шиллера:

---

[1] „Едва мы вышли из ворот Трезены, он был уж на своей колеснице“... Первые строки знаменитого „рассказа Терамена“ о гибели Ипполита, героя трагедии Расина „Федра“. Этот монолог, как образец классического французского стиля, входил необходимым элементом „французского“ воспитания молодого поколения господствующих классов XVIII и XIX в.в. во всей Европе и, в частности, в России.

[2] Познай различие двух наций.

[3] Результаты революции 1848 г.

Glücklicher, als wir in unserm Norden,
Ist der,
Denn er sieht das ewig gross Rom! [1]

„Вот видите ли“, сказал он с улыбкою, обращаясь к сопровождавшему меня патеру: „видно он читал все эти дурные книги!“ Шиллер — дурная книга! O, Dio immortale [2].

У Петрака было нечто прямодушное, откровенное, славянски-любезное. Был там и другой чех — о. Гаклик, но этот уж был совершенный невежда, ужасный добряк и простак, и далее часослова мысли его не простирались. Он в старые годы был женат, т.-е. прежде чем пошел в духовное звание, и у него была дочь монашенка в каком-то бельгийском монастыре. К этому же времени прибыло к нам два новообращенных американца, из коих один о. Гекер теперь известен всему католическому миру, как даровитый издатель журнала „Catholic World“ [3], в Нью-Иорке. Он заставил папу расплакаться, изображая перед ним восторженным языком распространение католической веры в Америке. Этот Гекер просто дитя, живущее одним воображением, — он только видоизменение старых фанатических американских пуритан. Ну что? забавно? ты чай зевнул?

(На этом рукопись обрывается).

---

[1] „Счастливее нас, на нашем севере, тот, кто видит вечный великий Рим“—искаженная цитата из стих. Шиллера „Друзьям“.

[2] О, бессмертный бог.

[3] „Католический мир“.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ.


ЦЕНА
2 руб. 30 коп.
Переплет 40 коп.